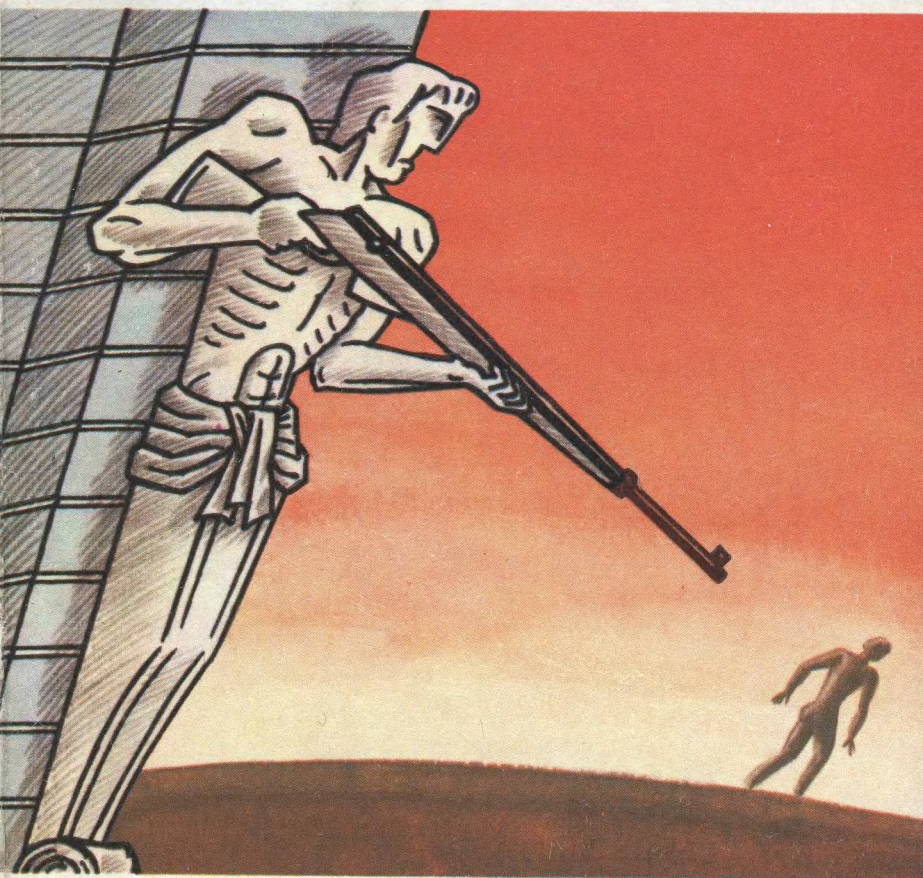


АЛЕКСАНДР  
ЖИТИНСКИЙ



СЕДЬМОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ

*АЛЕКСАНДР  
ЖИТИНСКИЙ*

---

**СЕДЬМОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ**

---

*рассказы  
новеллы  
миниатюры*

Ленинград 1990  
СП «СМАРТ»

ББК 84 Р7  
Ж 66

*Издание подготовлено Ленинградским представительством  
РПК «ТЕКСТ» по заказу СП «СМАРТ»*

*Часть средств от реализации книги  
передается в Фонд возрождения Ленинграда*

*Художник Г. Светозаров*

Ж  $\frac{4702010201-002}{090-90}$  без объявл.

© Александр Житинский, 1990

© Художественное оформление — Георгий Светозаров, 1990 г.

## ОТ АВТОРА

*В этой небольшой книжке собраны прозаические произведения малой формы, которые являются для автора непосредственным продолжением его стихов, писавшихся в шестидесятые—семидесятые годы. Как правило, эта проза тяготеет к фантастике, абсурду, иронии. Еще она тяготеет к тому, чтобы долго лежать в столе, ибо значительная часть помещаемых в этой книге рассказов появляется перед читателем впервые, а среди них есть такие, чей возраст составляет около или даже более двадцати лет.*



1

---

*рассказы  
новеллы*



## ОПАСЕНИЯ

Он стал замечать, что боится лепных карнизов. Иногда, читая газету, наклеенную на доске, он резко вскидывал голову, ожидая увидеть перед глазами падающий сверху кусок штукатурки. Этот кусок представлялся грязным, с бурыми пятнами дождя. Если вовремя не поднять головы, он ударит в темя. От предчувствия удара голова становилась легкой, как орех, готовый расколоться.

Обычно это продолжалось мгновение, потом он отходил к краю тротуара, не переставая опасливо поглядывать на балконы. Казалось, они ждали приказа, чтобы неотвратно и бесшумно ринуться вниз.

Сердце несколько раз пугливо толкало его изнутри, но все становилось на место, когда он вспоминал о двутавровых балках, вмурованных в площадки балконов.

Конструкция обретала прочность.

Многое в этом мире висело на волоске и было опасным до тех пор, пока он не ставил мысленных подпорок или не изобретал способа уберечься от беды. Он будто непрерывно играл с Господом Богом в некую игру: его партнер придумывал, как физически от него избавиться, а он предугадывал эти попытки и старался их избежать.

Иногда ночью с ним происходили странные вещи. Он называл это «рельефностью». Когда она наступала, звуки становились выпуклыми и твердыми. Их можно было потрогать, поменять местами, они существовали отдельно от источника. Тиканье часов напоминало сухой треск спичечного коробка. Звонкие мысли летали кругами и были горячи на ощупь. Руки и ноги



отделялись от тела и находились где-то далеко, как в перевернутом бинокле. Самое любопытное заключалось в том, что руками и ногами можно было шевелить, однако такое управление осуществлялось сознательно и разделялось на приказ и исполнение.

«Рельефность» отступала внезапно, как и приходила. Мысли и звуки разом смешивались в обычный ровный фон, а тиканья часов снова не было слышно. Несомненно, эти удивительные состояния между сном и бодрствованием были каким-то образом связаны с постоянными опасениями за хрупкую жизнь.

Размышляя над своими страхами, он приходил к выводу, что боится чуждой кинетической энергии. Наиболее концентрированными ее проявлениями были камень и пуля. Проходя по двору мимо мальчишек, он втягивал голову в плечи и поднимал воротник, ожидая пушечного в спину камня.

Но еще страшнее было ожидание пули. Без всяких расчетов было понятно, что камень, брошенный мальчишкой, серьезного вреда причинить не сможет. Но пуля — другое дело. Масса у нее крошечная, точно у мухи, но летит она торопясь и энергия у нее огромная. Во всем был виноват квадрат скорости в формуле кинетической энергии. Его он ощущал затылком, пуше всего боясь выстрела сзади.

Это случалось не часто, но, когда страх все же приходил, положение становилось безвыходным. Метаться из стороны в сторону, пытаться избежать пули, было еще опаснее. Пуля могла лететь мимо, — бросившись в сторону, легко угодить под нее. Самое верное — быстрее зайти за угол. Там страх сразу исчезал и казался смешным.

Где-то он слышал историю, как стреляли из окна по случайному прохожему. Кажется, на спор. На окна, в особенности темные или укрытые деревьями, он смотрел с ненавистью. Случай пугал его не меньше, чем энергия.

Выходило, что боялся он не смерти, а случая. Его внезапность и непредсказуемость были гораздо опаснее смерти, потому как смерть была естественна, она имела причину, а каприз случая не поддавался учету.

Из всей массы случаев по-настоящему пугали непредвиденные сгустки энергии. Чем быстрее они двигались, тем вероятнее становилась возможность встречи. Самое странное, что он не мог представить себе пули или камня в натуре. При мысли о них рисовалось движущееся поле, завихрение сил, ставшее материей. Это был комок силовых линий, обретших форму и вес. Казалось, этот комок можно рассеять усилием воли, тем самым лишив его опасности. Но волю следовало тоже собрать в небольшой объем, довести до высокой концентрации, а это не всегда получалось.

Энергия рождала вспышки страха, который быстро проходил. Другой опасностью была толпа, страх перед которой присутствовал постоянно.

Толпа сковывала, гипнотизировала, увлекала в водоворот локтей, всасывала в двери и сжимала, сжимала. . .

Здесь, в отличие от случая, действовал закон. Случай был неотвратим, от встречи с толпой можно было уклониться. Переждать поток людей, выбрать другие двери, выходы, автобусы и электрички. Можно прийти заранее и уйти позже. Но и это не всегда удавалось. Толпа рождалась незаметно, сгущалась и неотвратимо засасывала в себя. Она становилась живым организмом, живущим по законам жидкости. Отдельные силы усреднялись, превращаясь в тупую мощь, противиться которой не было возможности. Она могла раздавить находящихся с краю — там, где толпу ограничивали бетонные стены и железные турникеты.

Когда он попадал в толпу, единственной его целью становилось держаться середины. Однако от его желания уже ничего не зависело. Более того, проявляя активность, он ставил себя в невыгодные условия и постепенно оказывался с краю. Самым разумным было подчиниться стихии, пытаясь лишь угадать ее намерения.

Кроме смертельной опасности жесткой границы, была не менее страшная опасность неравномерности движения толпы. Поток людей завихрялся, испытывал ускорения, и тогда в нем образовывались пустоты.

Внезапно освобождалось место, куда можно было упасть.

Падение вычеркивало человека из толпы, его затаптывали, часто не замечая этого.

Ему стало казаться, что толпа караулит его. Однажды в подземном переходе движение вдруг замедлилось, стало темно и тесно. Где-то впереди перекрыли проход, люди качнулись назад, рядом раздался женский крик и страшный голос мужчины:

— Стойте!

С улицы под землю спешили новые массы, смешивались в крике, столах и тяжелом дыхании толпы. Внезапно блеснул свет, толпа подалась вперед, образовалось пространство, люди побежали.

Он выскочил наверх, тяжело дыша, и несколько минут в ужасе наблюдал, как из-под земли вырывались люди. Многие были необъяснимо веселы.

Сочетание толпы и случая было наихудшим вариантом. Оно возникало в переполненном автобусе, едущем по мосту. Сдавленный соседями, он ясно ощущал предел скорости, за которым автобус сможет пробить чугунную решетку ограждения. Картина рисовалась отчетливо, как в замедленном кино: куски ограждения взмывали в воздух, расклеиваясь на лету, автобус тяжело переваливался через край, успевал сделать в воздухе пол-оборота и падал в Неву.

Дальше картина обрывалась, потому что было неясно, останется автобус на плаву или пойдет на дно.

Чаще ему казалось, что автобус утонет мгновенно, хотя мерещились и более благоприятные возможности.

Он без устали рассматривал варианты поведения во всех допустимых случаях.

Многое зависело от того, успеет ли водитель открыть двери и станет ли делать это вообще. Это было мало вероятно, но давало шанс на спасение.

В противном случае приходилось мысленно разбивать окно, и тут возникали непреодолимые трудности. Кулаком сделать это никак не удавалось, даже принимая во внимание безвыходность положения. Ногой тоже не получалось, ибо толпа сковывала движения.

Когда же он принимал в расчет всеобщую панику, крики, динамический удар о поверхность воды и

отсутствие опоры, он приходил к выводу, что разбить стекло невозможно.

Все же он стал возить с собой в портфеле молоток.

В редких случаях, когда ему мысленно удавалось выбраться из тонущего автобуса, до спасения было еще далеко, потому что неизвестны были глубина реки, температура воды и скорость течения. На нем же было зимнее пальто, от которого он избавлялся в ледяной воде, ощущая, как оно тянет его ко дну.

Доходило до того, что он покидал автобус и переходил мост пешком.

В самолете он вообще не летал. Слишком тяжел был аппарат для пустого воздуха. Законы аэродинамики не убеждали.

Если бы давали парашют!.. Но тогда было бы, как в автобусе — паника, предсмертные крики, переплетение тел,— и опять спастись не удавалось.

Он предпочитал ходить пешком и свободнее всего чувствовал себя в открытом поле. Там он мог вольно вздохнуть, и оглядеться по сторонам, и увидеть темный лес вдали, и дым над трубой, и черные серпики стрижей, стелющихся под синей грозовой тучей, в глубине которой грозно вспыхивали электрические огни.

Молнии он почему-то не боялся.

## ПОРА СНЕГОПАДА

Снег падал всю ночь, пока мы спали, просматривая дивные короткометражные сны о прошедших временах и о тех событиях, которые могли бы произойти с нами, не будь мы столь безнадежно глупы и эгоистичны. Сны будто дразнили нас всевозможными картинками счастья, предлагая различные варианты жизни, близкие и далекие перемены, запретные встречи и тому подобные сумасшедшие мероприятия, какие может нагадать лишь цыганка на картах да выкинуть наудачу ночь, точно номера лотереи. Поскольку среди множества комбинаций встречались и прямотаки удивительные, пугающие своей несуразностью, — например, падение в какую-то пропасть в собственном автомобиле, которого у меня нет и никогда не будет, битком набитом орущими, визжащими и растрепанными девицами (причем, одна из них вцепилась в мои руки с такой силой, что утром я долго зализывал маленькие кровоточающие ранки от ее ногтей, похожие на следы крохотных трассирующих пуль, и удивлялся, кажется, больше им, чем этому проклятому снегопаду), — так вот, поскольку встречались и такие, с позволения сказать, эксперименты, то приходилось только радоваться своей нормальной и твердой жизни, всплывая с донышка сна, прислушиваясь к скрипу форточки, раскрытой настежь, и снова погружаясь в какое-нибудь очередное приключение.

Странно, что, просыпаясь наполовину и слыша форточку, я не ощутил снегопада. А может, тогда он еще и не начался.

Утром, прежде чем открыть глаза, в то короткое мгновенье между сном и явью, когда с легким испугом перепрыгиваешь некую трещинку во времени, я почув-

становал холодное прикосновение ко лбу, которое тотчас же превратилось в теплую каплю влаги, скатившуюся между бровями на веко. Я открыл глаза и увидел край одеяла с пушистым снежным кантом на нем толщиной сантиметра в два. Мое лицо было мокрым. Я приподнялся на локтях, чтобы получше все рассмотреть, и обнаружил ровный, нетронутый слой снега, лежавшего на полу, письменном столе, одежде, раскиданной на стульях, и вообще на всех предметах, находившихся в комнате. Жена еще спала, уткнувшись, по своему обыкновению, носом в подушку, а голова ее была будто покрыта белым пуховым платком. Потревоженный моим пробуждением, снег бесшумно сыпался вниз с одеяла, образуя холмики на полу рядом с кроватью. В пространстве комнаты сеялись редкие тусклые снежинки, неизвестно откуда взявшиеся и едва различимые в серой, утренней мгле. В комнате было прохладно.

— Ну, вот и зима пришла! — слышался удовлетворенный бабушкин голос, а потом и сама бабушка проплыла в коридоре мимо раскрытой двери нашей комнаты. Она была в ночной рубашке до полу, а в волосах у нее мерцали крупные снежинки. Из-под бабушкиных слепанцев взвивались маленькие снежные вихри и тут же опадали вниз.

— Какая зима? — раздраженно сказала мать в кухне. — Еще и осени-то не было! Вечно ты все перепутаешь, мама. Погляди в окно!

— А ты поживи с мое, тогда и посмотрим. Восемьдесят семь лет... — мечтательно произнесла бабушка.

Я сел на кровати, поставив ступни в снег на полу. Снег с легким шорохом примялся, и я приподнял ноги, чтобы полюбоваться мягким рельефным отпечатком. Ступни горели, обожженные снегом, и это обстоятельство неоспоримо доказывало, что сон прошел, оставив лишь следы неизвестных женских ногтей на тыльной стороне моих ладоней. Я лизнул ранки, а затем опустил руки в снег, отчего на них налипли сломанные снежинки, которые быстро таяли, превращаясь в прозрачные целебные капли. Я слизывал их с тупым наслаждением, мой мозг еще не работал, а регистриро-

вал все как есть, находя в этом известное удовольствие.

Бабушка продефилировала мимо нашей двери в обратном направлении, подставив ладони падающим снежинкам и благостно улыбаясь.

— Ты будто на лыжах в своих шлепанцах! — крикнул я ей вслед.

— Восемьдесят восемь лет — это вам не хухры-мухры, — сказала откуда-то бабушка.

— Уже восемьдесят восемь! — буркнула в подушку жена. — А вчера было семьдесят пять. Бабушка дает!

Она повернула голову, протерла кулаком глаза и уставилась на зимний пейзаж.

— Платье пропало, — прошептала она, остановив взгляд на неровном сугробике, возвышавшемся на стуле. Я подошел к стулу, высоко поднимая ноги, точно аист, и тряхнул платье, с которого полетела мелкая серебряная пыль, как будто оторвался прозрачный шлейф и опустился на пол. Оно почему-то пахло арбузом. Я бросил платье жене, и она поймала его, стараясь не задеть снежного покрова на одеяле.

— Давай все остальное, — приказала она и хихикнула, наблюдая, как один за другим, напоминая жонглерский реквизит, летят в редком снегопаде лифчик с поясом, сорочка и чулки. Все это она быстро натянула на себя, сидя на кровати и не переставая хихикать.

— Ну, теперь начнется! — наконец сказала она.

— Что начнется? — спросил я.

— Ты простудишься, надень тапки, — ответила она.

Я разыскал тапки, вытряхнул из них снег и подошел к окну.

Под окном ехал, позванивая, жизнерадостный красный трамвай, за которым бежало низкое облачко пыли. Лето еще не сдавалось, хотя изрядно потускнело и постарело. Деревья на той стороне улицы уже высасывали из земли желтую краску, которая понемногу примешивалась к темно-зеленой листве, разбавляя косые тени на домах едва приметной охрой. Солнце поднималось, как всегда, справа, и никакого снега на улице не было и в помине.

Снег лежал в нашей большой, несколько запущенной квартире; он слетал с потолка и медленно падал

на пол, ускоряя и усложняя свой полет только в районе открытой форточки,— в прочих местах он падал отвесно и равномерно со скоростью десяти сантиметров в секунду, — и я подумал, что так, должно быть, выглядит сгустившееся и замерзшее время с секундами в виде снежинок, падающих с неумолимой монотонностью.

Это была первая моя мысль с момента пробуждения. Первая мысль иногда бывает наиболее близкой к истине.

Так началась в нашем доме пора снегопада в то утро. Было воскресенье, и вся семья постепенно стягивалась к завтраку в кухню. Между взрослыми пока царило молчание, а дети — наши, моего брата с женой и еще какие-то дети, ни свет ни заря пришедшие в гости, — уже резвились, высыпавшись из детской. Они с увлечением лепили небольшую снежную бабу у входа в ванную, так что туда приходилось протискиваться боком, чтобы не повредить их сооружение. В огромной ванной комнате каждый занимался своим делом, стараясь ни на кого не смотреть. Там тоже падал снег, тихо скользя по наклонно стоящему на полочке зеркалу, в котором отражалась голова отца. Он сосредоточенно брился, густо намазывая подбородок пеной, тоже похожей на снег, а его лицо выражало каменную решимость. Брат, голый по пояс, выбирал из ванной горстями снег и с наслаждением растирал грудь. Я пристроился к умывальнику, отвернул кран и с минуту наблюдал, как тонкая струйка воды скрывается в узеньком отверстии, образовавшемся в снегу, которым до краев была полна раковина.

Бабушка заглянула в ванную все в той же ночной рубашке и сказала:

— Ах, здесь мужчины! Пardon!

— Мама, да оденься же ты, ради Бога! Сколько можно ходить в рубашке? — возмущенно сказала мать, отстраняя бабушку и тоже заглядывая в ванную. — Завтрак готов, — сухо объявила она и исчезла. За этими двумя словами скрывалось:

а) всегдашнее недовольство невестками, несущими слишком малую, по маминому мнению, нагрузку по дому;



б) крайняя степень усталости от готовки, стирки, глажки, уборки, бабушки, нас, внуков и постоянной экономии;

в) внутреннее возмущение невесть откуда взявшимся снегопадом и прочее, и прочее, и прочее.

Тут надо объяснить обстановку в нашей семье, иначе многое будет непонятно. Живем мы все вместе в старой пятикомнатной квартире с громадной кухней, в которой можно играть в футбол, что, кстати, мы с братом и делали, когда были маленькими. Тогда у родителей была отдельная спальня, была гостиная, детская и бабушкина комната. Плюс к тому у отца имелся свой кабинет. Потом произошли различные перемены, связанные с увеличением семьи. В результате комнаты распределились так: в бывшей спальне живут родители, в гостиной мы с женой, в кабинете отца расположился брат со своей женой, а в детской живут наши дети. Бабушка осталась в своей комнате.

Мебель передвигалась тысячу раз, отчего сильно попортилась. Вообще, многое пошло прахом: порядок, издавна заведенный в доме, пошатнулся, и только мать с отцом делали отчаянные попытки его спасти. Мать, конечно, больше. На ней всегда держался дом. Так и говорилось: дом держится на матери, — мы к этой фразе привыкли давно. Отец всегда был крупным начальником, а теперь вышел на пенсию, бабушке было что-то около девяноста лет, а может, и больше, а теперь пошел снег. Снега нам как раз и не хватало.

Кстати, бабушка — это мать моего отца, а не матери. Но моя мать зовет бабушку мамой, потому что так повелось с незапамятных времен, когда нас с братом еще не было на свете.

Теперь можно вернуться и к завтраку, во время которого, как это ни странно, никаких обсуждений снегопада не было. Когда в кухню пригнали детей — и своих, и чужих, — все расселись вокруг стола, в центре которого стояла кастрюля с горячей картошкой. От кастрюли валил пар, и в нем таяли, не долетая до картошки, снежинки. Мать успела подмести снег на полу в угол и накрыть сугробик половой тряпкой. К сожалению, во время завтрака снегопад усилился, и стол быстро припорошило, что вызвало

немалый восторг у детей, скатывавших маленькие снежки прямо на клеенке. Бабушка торжественно улыбалась.

— У меня сегодня День Ангела, — наконец заявила она, после чего раскрыла рот и внимательно оглядела всю семью, ожидая реакции на свои слова.

Мать с силой захлопнула кастрюлю крышкой, а невестки улыбнулись слабой улыбкой, понятной только нам с братом.

— Это ангел снегу насыпал? — спросила племянница и тут же получила подзатыльник от жены брата.

— Моя ты лапочка! — умилилась бабушка.

— Бабушка, ты бы ела. Картошка стынет, — строго сказал отец. По его лицу текли струйки тающего снега, но он даже не вытирал их, как остальные, и капли падали в его тарелку с подбородка. Закончив есть, отец взял стакан чаю и ушел в свою комнату, не проронив больше ни слова.

— Девяносто три года. . . — опять начала бабушка, но мать резко оборвала ее, сказав с надрывом в голосе:

— Мама, сколько можно одно и то же?

— А я что? Я ничего, — обиделась бабушка и поджала губы.

Жена брата принялась что-то торопливо рассказывать, чтобы снять напряжение, но напряжения снять не удалось. Казалось, что мать вот-вот заплачет. Она и заплакала, но потом уже, когда осталась одна в кухне. Это я определил позже по глазам и припухшему покрасневшему носу.

Весь воскресный день был посвящен борьбе со снегом. Собственно, боролась только мать, непрерывно подметая кухню и коридор. Снег пошел хлопьями, как бы намекая на бесполезность всякой борьбы, и мы с братом быстро это поняли. Отец сидел у себя в комнате и читал газету. Когда на ней скапливалось слишком много снега и читать становилось затруднительно, он переворачивал лист и начинал изучать другую сторону, а потом снова переворачивал и так далее до бесконечности. Вряд ли такое чтение доставляло ему удовольствие и было полезным.

Когда жены ушли гулять с детьми, мать позвала нас с братом на совещание. На нее жалко было смотреть — совсем уже старушка с зареванными глазами. Она сидела в ванной комнате на табуретке, расставив ноги, и методично поливала горячей водой из душа снег, который она сгребла в ванну из коридора. Снег быстро таял и проваливался в дырку, перегородженную черным крестиком.

— Вот что, мальчики, я вам скажу, — начала мать тихо, и голос у нее сразу же задрожал. — Я за отца волнуюсь, у него же сердце. . . А если бы мы все дружно, и жены ваши, я ведь одна, как белка в колесе. С детьми вашими нянчусь, с бабушкой нянчусь, она ведь как ребенок, вчера опять съела весь компот, я говорю: «Мама, неужели ты голодная? Неужели мы тебя не кормим?» — а она отпирается, говорит, что не ела. . . Теперь этот снег, неизвестно, когда он кончится. Господи, всю жизнь, всю жизнь никакого покою! Думала: вырастут дети, отдохну. . . Бабушка нас всех переживет, вот увидите, здоровье у нее дай мне Бог такое, — говорила мама, раскачиваясь на табуретке и водя душем над снегом.

Старые, бесконечные разговоры, к которым мы так привыкли, что уже и не слушали, а только наблюдали, как струйки душа съедают остатки снега в ванне, а сверху падают новые хлопья, и нет им никакого конца. Мать устало стряхивала снег с головы и рук, стараясь, чтобы он не попадал на пол, а летел под горячую воду.

— Да ну! — сказал наконец брат. — Ничего страшного, всегда ты делаешь проблему.

— Я вас только прошу: не говорите отцу, — сказала мать и шмыгнула носом. Она отвернулась и провела по глазам рукавом платья.

— Чего не говорить? — спросил я.

— Да про снег этот проклятый! Про снег!

— Не понимаю, — пожал плечами брат и ушел.

— Вы уж у себя в комнатах хотя бы поддерживайте порядок, — сказала мать, и я согласно кивнул, успокаивая ее.

— Может быть, попробовать пылесосом? — спросила она и вдруг рассмеялась так, что выронила душ

в ванну, и тот превратился в фонтан, бьющий вверх струями почти кипящей воды.

— Выкидывать его к черту на помойку, — предложил я, чтобы что-нибудь предложить.

Мать испугалась и сделала круглые глаза.

— Что ты! С ума сошел! — замахала она руками. — Соседи увидят, разговоров не оберешься! Да ты сам подумай — снег будем выбрасывать в начале сентября. Где это видано?

Я взял пылесос и принялся убирать снег в нашей комнате. Когда мешочек пылесоса наполнялся, я относил его в ванную и вынимал из него аккуратный, спрессованный цилиндр снега, который мать тут же начинала растапливать горячей водой. Она повеселела, результаты борьбы были налицо и рождали новое вдохновение. Однако снег падал так же методично, покрывая тонким слоем только что убранные участки.

Отец вышел из бывшей спальни, похожий на Деда Мороза, и проследовал в коридор. Там он оделся и вышел на улицу. Брат в своей комнате с веселой песней протаптывал узенькие тропинки от стола к дивану и от дивана к шкафу, а к остальному снегу не притрагивался. Он пел стихотворение Пушкина «Зимнее утро». У них в комнате уже образовался покров сантиметров в двадцать. К бабушке я не заглядывал, и она не напоминала о себе.

Вечером все сидели притихшие в своих углах, и только из детской слышались радостные крики. Там шла игра в снежки. У матери разболелась голова, и она терла виски снегом, собирая его с подлокотника кожаного кресла, в котором сидела. В каждой комнате, по-видимому, стихийно вырабатывалась линия поведения в создавшихся условиях.

А снег все шел и шел, не переставая, и когда поздно вечером бабушка открыла окно в своей комнате и устроила, как всегда, сквозняк в квартире, снег повалил из ее двери в коридор, образовал там заносы и завалил одежду и обувь. Получилась настоящая метель с поземкой, поддувающей под закрытые двери, с вихрями, рисующими на стенах изящные белые вензеля, пока это безобразие не прекратила мать.

Она выскочила в коридор, напустилась на бабушку, потом на нас и быстро расправилась с метелью.

Все мы сравнительно скоро привыкли к снегопаду. Уже через неделю снег придал каждой комнате нашей квартиры свой неповторимый облик, точно соответствующий укладу ее обитателей. Я даже не подозревал, что простой, равномерный снегопад может столь резко подчеркнуть тот факт, что мы уже давно разошлись и не составляем более единой семьи. Раньше это не так бросалось в глаза. Квартира была как квартира — ну, большая, местами неприбранная, с разношерстной мебелью, — однако на первый взгляд все было как надо. Теперь же на эту картинку стоило посмотреть.

Кухня, коридор и комната родителей превратились в арену непрестанной борьбы со снегом, которой посвятила себя мать. Вооруженная пылесосом и веником, она начинала каждый день с уборки и заканчивала его тем же. Вероятно, и днем она делала то же самое, но днем мы все были на работе, а спрашивать не решались просто потому, что мать перестала с нами разговаривать. Отец продолжал игнорировать весь этот снег, смотрел телевизор, с которого капала вода, читал газеты и говорил о футболе. Я удивлялся ему, его характеру, пока однажды не обнаружил, что отец тоже держится с трудом. Ночью, когда я выносил из своей комнаты двух маленьких снеговичков, чтобы поставить их в детской рядом с кроватками, я увидел отца, взгромоздившегося в коридоре на стремянку и внимательно исследующего потолок. Он водил по нему ладонью, затем подносил ее к носу, нюхал, пробовал на вкус и даже пытался скрести потолок столовым ножом. С потолка вместе со снегом падала мокрая известка, только и всего. Я вдруг подумал, что отец сильно постарел. Он так увлечен был своими опытами, что не заметил меня, и я поспешил спрятаться за дверью.

В комнате брата снегу было привольней всего. Там его никогда не убирали, отчего кое-где образовались высокие сугробы, а в других местах — там, где часто ходили, — снег слежался в крепкий синеватый лед, который мать в отсутствие невестки посыпала песком,

чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не подскользнулся. Дело в том, что комната брата была проходной, и родители были вынуждены ходить через нее в свою спальню. У брата часто бывали гости, что создавало дополнительные неудобства. Снег из комнаты выносился подошвами в коридор, гости, веселясь, бросали друг друга в сугробы и вообще всячески развлекались, а потом отряхивались в коридоре перед уходом домой. Конечно, это не прибавляло матери энтузиазма.

У нас, как я уже упоминал, организовалась маленькая мастерская снежной скульптуры, что позволяло нам с женой коротать долгие, зимние вечера. Каждый день мы лепили двух-трех снеговиков и расставляли их в комнате, благо она была большой. Вскоре наша комната стала напоминать остров Пасхи с высоты птичьего полета, с той разницей, что скульптуры, торчащие тут и там, были белоснежного цвета и более разнообразны.

С бабушкой творилось что-то странное. Она ходила в основном в ночной рубашке и валенках и каждую неделю прибавляла себе один год жизни. Скоро ей перевалило за сто, показывалась из комнаты она редко, но настроение у нее было превосходным. В ее комнате снег лежал абсолютно нетронутым, исключая кровать. Кроме того, на полу были пять или шесть глубоких ям в снегу, тянувшихся цепочкой от кровати к двери. Бабушка всегда ходила туда и обратно след в след.

И наконец, в детской, как и полагается, было смешение всех эпох и стилей. Мать периодически выгребала оттуда снег, дети плакали, потому что со снегом было интереснее, жена брата тайком подбрасывала в детскую охапки снега, чтобы возместить потери, а мы с женой носили туда снеговиков. Анархия, да и только.

Дети катались на лыжах и санках, строили снежные крепости и ночевали в них, играли в снежки, приглашали своих приятелей из детского сада, которые уходили с плачем, и тому подобное. Дети жили в свое удовольствие.

Хорошо было иногда ночью выйти из комнаты со снеговиком в руках и остановиться в коридоре, слушая тихое электрическое потрескивание, с которым

падал снег. Включив лампочку, можно было увидеть всю непо потревоженную завесу снега от дальней двери в бабушкину комнату, проступавшую нечетким серым контуром, и до вешалки, на которой висели снеговые шубы. Завеса струилась, рябила под светом и падала, падала, падала, словно пустая засвеченная пленка, прокручиваемая на бледном вытертом экране. Но главное было, конечно, в звуке — таком тихом и таком отчетливом, что казалось, будто он возникает в крови, когда она с тончайшим шорохом бежит по сосудам. Было немного жутковато, если стоять долго, пока голова не покроется снежной шапкой.

Но эти редкие мгновения никак не компенсировали постоянного нервного напряжения, установившегося в нашей семье. Теперь трудно даже припомнить, из-за чего произошел тот самый, заключительный скандал. Кажется, все началось с детей. Как-то вечером мать выкатила из детской огромный снежный ком, над изготовлением которого внуки трудились половину дня. Естественно, что дети бежали за ней, цепляясь за платье, плача и требуя, чтобы ком был возвращен обратно. К несчастью, вся семья была дома. В коридор выскочили невестки, услышавшие плач детей, а за ними нехотя появились и мы с братом. Мать, раскрасневшаяся, разгоряченная, со злым лицом, толкала ком по коридору.

— Да оставьте вы их в покое! — сказала вдруг моя жена.

Мать привалилась к снежному кому и зарыдала в голос. Дети остановились, задрав головки, как маленькие снеговички, которыми полна была моя комната. Так они и торчали из снега, следя за событиями.

— Все вам отдаю, — сквозь рыдания говорила мать. — Такая неблагодарность, такая неблагодарность. . .

— Перестань, мама! — сказал брат.

— Ну почему, почему нельзя дружно, всем вместе? . . — продолжала мать.

— А потому, что вы вмешиваетесь, — зло и спокойно проговорила вторая невестка.

Отец уже появился в коридоре и напряженно прислушивался к разговору, смотря на всех как-то

поверх голов. Услышав последние слова, он засопел и вдруг выкрикнул:

— Убирайтесь все из моего дома! Слышите?

— Это такой же мой дом, как и твой, — заявил брат.

— Да как ты смеешь! — закричал отец. — Привели сюда жен, понимаешь, детей нарожали, а о нас, о нас вы подумали?

— А вы много о бабушке думаете? — сказал брат.

— Все дело в снеге, — негромко сказал я.

Я произнес эти слова как бы про себя. Скорее, это была просто мысль, высказанная вслух, а не реплика в споре, но все. кроме отца, замолчали и посмотрели на меня с испугом. будто я позволил себе сказать что-то ужасное.

Отец побелел и выкатил глаза. Он шагнул ко мне, сжав кулаки и отбросив их назад, а затем прохрипел:

— Нет никакого снега! Нет! Что ты выдумываешь, идиот?!

На лицо отца хлынула багровая краска, и он схватился рукою за грудь. «Сейчас он умрет», — подумал я и успел даже удивиться тому спокойствию, с которым я это отметил. Но отец лишь часто задышал и прислонился к вешалке с одеждой, откуда на него посыпался густой снег.

Первым шевельнулся наш сын. Он вздрогнул всем телом, а его глаза были так широко раскрыты и такой в них стоял ужас, что жена упала на колени, чтобы схватить его и успокоить. Но он вырвался и побежал по коридору к бабушкиной комнате. Перед самой дверью он поскользнулся на снегу, упал и въехал в дверь на боку, открыв ее своим телом.

За дверью, распахнувшейся в конце коридора, были тишина и спокойствие. Тяжелые покатые сугробы в глубине комнаты доставали почти до потолка, обрамляя окно на улицу плавными зализками, будто вычерченными по лекалу. С верхнего края оконного проема свисали прозрачные сосульки разной величины, с которых срывались полновесные круглые капли, падающие в снег со слабым причмокиванием. Торжественность этого ледяного царства, открывшегося нам, была настолько выше наших страстей,



а покой, исходивший из комнаты, так не соответствовал всему, происходящему в коридоре, что все вдруг опустили глаза, будто стыдясь чего-то.

Сын поднялся на ноги перед стеной снега, бывшей ему по грудь, и посмотрел в сторону на что-то, не видимое нам из коридора.

— Прабаба спит, — прошептал он, и, хотя это был вполне возможный вариант, мы все почувствовали нечто другое, некое прикосновение холода ко лбу, словно снежная тень махнула темным крылом.

Толпясь, мы пошли к бабушкиной комнате. Мать с отцом шли впереди, а я замыкал шествие. Когда я вошел в комнату, все уже неподвижно стояли по колено в снегу полукругом перед бабушкиной кроватью. Бабушка лежала на спине, прикрытая снегом, накопившимся, вероятно, дня за два. Ее лица не было видно. Валенки стояли рядышком у кровати, высываясь из снега, как трубы затонувшего парохода.

— Зима пришла! Настоящая зима пришла! — закричал наш сын и, протиснувшись между взрослыми, побежал обратно в детскую.

За черным окном поднимались к небу световые снопы фонарей, в их бедном, ненастоящем свете падал на землю другой свет — небесный, настоящий, густой, искрящийся огнями цветowych пылинок, радостный и печальный первый снег зимы. Мы и не заметили, как он пришел и завалил всю округу, объединяя улицы и дома одним легким покрывалом, состоящим из мириадов снежинок, сцепленных хрупкими лучами. Это был тот же самый снег, но показавший вдруг свою красоту и могущество. Бороться с ним или проклинать его было бы безумием.

Последняя снежинка с потолка, блеснув плоскими лучами, упала на пол, а потом снег в квартире начал стремительно таять, превращаясь в чистые потоки воды, ринувшейся из квартиры на лестницу. Это был настоящий водопад, унесший с собой старые стулья и диваны, вымывший квартиру до блеска и оставивший после себя запах весны.

Не может быть, чтобы этого никто не заметил.

## ПОДАРОК

И вдруг он увидел, что из-за спичечного коробка, изображавшего угловой дом с булочной в первом этаже, возле которого были воткнуты в пластилин три автомата газированной воды в виде лампочек от карманного фонарика, — из-за угла этого дома с нарисованными окошками появился его отец в расстегнутом пальто. Генка отодвинулся от стола, на котором стоял город, и замер. Отец подошел к автомату, потом к другому, будто чего-то ища, и тут в его крохотной руке блеснул едва видимый стакан. Отец торопливо сунул стакан в карман пальто и, оглянувшись, скрылся за углом булочной. Затаив дыхание, Генка заглянул за спичечный коробок и увидел отца, ростом не выше мухи, вместе с двумя какими-то мужчинами, один из которых сидел на обломанной спичке и курил. Струйка дыма завивалась, как пружинка.

Генка на цыпочках отошел от стола и направился в кухню. Там у окна неподвижно стояла мать, скрестив на груди руки, как изваяние, и не мигая смотрела сквозь стекло на темную улицу. Услышав Генкины шаги, она сказала, не оборачиваясь:

— Да иди уж так! Не съедят. . .

— Не пойду, — буркнул Генка и уселся на стул.

— У-у. . . сволочь проклятая! — глухо простонала мать, обращаясь не к Генке, а к черному окну, за которым раскачивался и звенел на ветру фонарь под жестяным колпаком.

Генка вернулся к своему столу, к фанерке, на которой стоял город. Он внимательно осмотрел тротуары рядом с булочной, но отца не обнаружил. Тогда Генка от нечего делать воткнул в пластилин рядом

с кубиком четыре спички и обтянул их тонким, прозрачным целлофаном. Сверху он приклеил под углом синее донышко спичечного коробка, и таким образом у него появился пивной киоск за кинотеатром, где они с отцом часто останавливались, когда ходили по воскресеньям в кино. Сам кинотеатр, сделанный из картона, с прозрачной полиэтиленовой витриной, был готов уже давно. Генка проверил прочность пивного ларька и даже прорезал в передней стенке бритвой маленькое квадратное окошечко.

Откуда ни возьмись к пивному ларьку стали стягиваться люди. Они выходили из-за кинотеатра, из дома напротив, где жила Светочка Донская, появлялись и со стороны сквера, прямо из проволочных кустов, обтянутых зелеными шерстяными нитками. Все спешили к квадратному окошечку, откуда уже выпрыгивали один за другим пивные бокалы с нашлапкой кружевной белой пены.

Генка наклонился к самым крышам, вглядываясь в мужчин. Отца среди них не было. Очередь к ларьку встала длинной неровной цепочкой, потом в кинотеатре кончился сеанс, и очередь еще увеличилась. Какой-то маленький человечек в желтом плаще вился вокруг ларька, поочередно подходя к началу и концу очереди. Его отгоняли, и он отходил, размахивая желтыми тонюсенькими рукавами.

В коридоре раздался звонок. Генка встрепенулся и помчался открывать дверь, однако мать опередила его. Сжав губы, с каменным лицом, она повернула ручку замка, но дверь на себя не потянула, а отступила назад и застыла на месте. Последовала пауза, после которой дверь нерешительно приоткрылась, и в щель заглянула женская голова в беличьей шапке.

— Ах! Извините, ради Бога! — проговорила Генкина мать. — Я думала, это отец наш вернулся. . .

Последние слова мать сказала с каким-то особенным выражением, и лицо у нее дрогнуло.

— Геночка! — пропела женщина в шляпке умильным голосом, так и не войдя в коридор. — Что же ты? Все уже собрались, а тебя нет.

Генка повернулся и побежал в комнату, где прыгнул с ногами на тахту и прижался к стене. Отсюда

он услышал обрывки тихого разговора, происходившего в коридоре.

— Подарок. . . — говорила мать. — Он обещал. . . нет и нет. . . Стыдится, а я, как назло, больная. . .

— Господи! — воскликнула женщина. — Какие пустяки! . . Не надо ничего! Ничего не надо!

Генка услышал какие-то всхлипывания и ласковое воркование пришедшей женщины. Затем мать с покрасневшими глазами вошла в комнату и сказала.

— Одевайся. Папа придет, принесет твой подарок. . . Там тебя все ждут.

— Не пойду, — помотал головой Генка.

— Ну, я тебя прошу, слышишь. . . Я тебя прошу.

По щекам матери побежали вниз две маленькие, как муравьи, слезинки и беззвучно прыгнули на пол. Генка встал и заправил рубашку в брюки. Эти брюки были куплены еще в первом классе и, как мать их ни удлиняла, все равно не доставали до щиколоток. Воротничок белой рубашки был тесен и стерт, однако рубашка торжественно пахла крахмалом, праздником и приглашением к Светочке Донской, куда Генке очень лестно было быть приглашенным.

Когда Генка получил это приглашение на открытке с розочками, где Светочкиной рукой были написаны взрослые, официальные слова, мать очень испугалась. Утром она долго говорила отцу, что семья там непростая, обеспеченная, отец Светочки известный артист, являться с пустыми руками стыдно, а потому надо купить хороший подарок — куклу какую-нибудь или медведя. Потом она дала отцу пять рублей, глядя на него очень внимательно и настойчиво, а отец спрятал деньги в карман, потрепал Генку по голове и ушел на работу.

— Григорий! Только ради Бога. . . — успела сказать ему вслед мать, на что отец отмахнулся и уже в дверях бросил:

— Да что я, не понимаю? Все будет хоккей!

Генка натягивал пальто, искоса поглядывая на свою фанерку, где продолжали копошиться люди, перебегая от дома к дому между проволочными деревьями и столбами из спичек по гладкой, покрытой лаком

дощечке. Потом женщина в шляпке взяла Генку за руку, и они вышли на улицу.

На улице Генка осторожно отобрал руку у женщины и засунул ее в карман пальто. Они прошли по скверу, торопясь, потому что из опутанных нитками кустов слышались какие-то невнятные разговоры, а в глубине мелькали огоньки сигарет. У пивного ларька, только что сооруженного Генкой, уже образовалась драка. Дрался тот самый парень в желтом плаще, размахивая пустой пивной кружкой, из которой вылетали веером мелкие хлопья пены. Двое мужчин пытались удержать его сзади, скользя ногами по липкому зеленому пластилину. Потом компания вдруг качнулась влево и налетела на одну из спичек пивного ларька. Спичка с треском переломилась, из ларька выскочила тетка в белом халате и засвистела в милицейский свисток.

— Какой ужас! — сказала Светочкина мама.

И они с Генкой почти бегом миновали кинотеатр, полиэтиленовая витрина которого светилась голубоватым светом, и вошли в подъезд дома. Генка успел поднять голову и посмотреть на небо. По нему бежали серые тучи, пронзенные бледным глазом луны, и Генке показалось, что это он сам смотрит с высоты на город, наклоняясь к самым крышам.

Им открыла бабушка в белом переднике. Она помогла Генке снять пальто и подвела его к двери в комнату. Дверь была приоткрыта. В ярко освещенной гостиной сидели гости — мальчики и девочки, одетые во все праздничное, с умытыми, румяными лицами, положив руки на колени. Светочка с отцом играли на пианино в четыре руки. Светочкин бант вздрагивал в такт польке, а отец, знакомый Генке по кинокартинам, улыбался доброй улыбкой.

Они кончили играть, бабушка кликнула Светочку, и та выскочила в прихожую, вопросительно глядя на Генку.

— Поздравляю тебя с днем рождения, — сказал Генка вымученным голосом, делая произвольное движение рукой. И тут он заметил, что Светочка, улыбнувшись, мельком, как бы нечаянно, взглянула на его руки, в которых ничего не было. Это длилось

какое-то мгновение, когда п у с т ы е руки существовали отдельно, и Генка с ужасом смотрел на них, будто они совершили невозможно гадкий поступок. Тут же кто-то мягко подтолкнул его в спину, кто-то сказал слова, которые пролетели над ним, как птицы, покружились в прихожей, а потом полетели назад, образуя легкий и деликатный разговор, который должен был сгладить непредвиденную паузу.

Эти птицы были раскрашенными волнистыми попугайчиками, виденными Генкой лишь однажды в зоопарке. Среди них летала и одна синичка, которая была Генкиным именем, вернее Генкиным уменьшительным именем. Звали ее Геночка. Она то и дело садилась Генке на макушку и чистила перышки.

— Геночка немножко стесняется: его папа не успел купить подарок, но ведь это пустяки. . .

— Да-да, дело совсем не в подарке!

— Светочка, что же ты? Приглашай, приглашай Геночку в комнату!

— Дети, а сейчас мы будем играть в испорченный телефон!

У Генки закружилась голова, он поднял глаза и увидел старательно улыбающиеся взрослые лица, увидел наяву день рождения, о котором думал сегодня весь день после школы, сидя за своим городом. Но тут его слух, обостренный стыдом, различил другие слова, сказанные шепотом Светочкиной мамой бабушке:

— Несчастный ребенок! Я бы таких отцов расстреливала!

Генка нагнул голову и кинулся к двери. Никто не успел опомниться, как он нажал на собачку замка, замок щелкнул, будто выстрел пистона, и Генка, забыв про пальто, бросился вниз по лестнице. За ним с криком побежали Светочкин отец, и сама Светочка, и все гости. Но Генка недаром сам строил этот дом. Он знал все входы и выходы. На втором этаже Генка неожиданно повернул вбок, нашарил руками в стенке узкую дырку, которую он сделал нечаянно ножницами, отогнул края бумаги и вылез на улицу.

Теперь он стоял посреди своего города, тяжело дыша сырой, осенней мглой, а над ним раскачивались

аккуратные фонарики с плафонами, вырезанными из серебряной шоколадной бумаги. Вправо тянулся низкий картонный заборчик, ограждавший пластилиновые клумбы, в которых торчали хвойные иголки. Клумбы напоминали зеленых ежей. Генка пошел вдоль заборчика, вглядываясь в лица прохожих, прошел кинотеатр и снова оказался у пивного ларька. Пока он был у Светочки, ларек успели сломать совсем, и целлофановая его обертка с шуршанием змеилась по ветру. То тут, то там Генке попадались измятые мужчины по одному, по двое и по трое, которые двигались беспорядочно и неумело, будто во сне, а их лица были сделаны из старых желтых промокашек.

Кусты в сквере, которые Генка изготавливал в свое время особенно тщательно и гордился при этом своей выдумкой, были изломаны и погнуты. Мокрые нитки болтались по земле, проволока цеплялась за ноги, на кустах висели крупные водяные капли. Генка подошел к своему дому и увидел у подъезда отца, который сидел на одной из канцелярских кнопок, удерживавших бумажный тротуар. Отец шаркал ногами по бумаге, оставляя на ней следы подошв.

— Генка! — сказал отец медленно, как останавливающаяся пластинка. — Генка, — повторил он и полез куда-то в пальто, путаясь в карманах. Он достал из внутреннего кармана размокший мятый кулек и протянул его Генке. Низ кулька разорвался, и оттуда посыпались на землю конфеты «Мишка на Севере». Отец нагнулся и принялся собирать конфеты. Откуда-то подскочили еще двое людей, потом еще и еще. Все ползали на четвереньках по Генкиному тротуару и собирали конфеты, как желуди. Тонкий спичечный фонарь упал на бок, потянув за собой нитку проводов, потому что его неосторожно задела ботинком, а Генкин дом покосился от сотрясения.

Наконец отец поднялся, держа в пригоршне собранные конфеты. Остальные мужчины тоже выстроились рядышком, как неровный, расшатанный забор, который вот-вот рухнет от ветра. Генка стоял в окружении взрослых людей в своем спичечном, бумажном, целлофановом городе, основательно испорченном за вечер, и непонятно было, как это все поправить.

Сейчас Генка был еще слишком мал, чтобы сразу что-то предпринять. Поэтому он вырвался из круга и взбежал по лестнице к своей квартире. Мать открыла ему с испуганным вопросом на губах, но Генка, не слушая ее, пробежал мимо прямо к своей фанерке в углу, над которой плыли серые небольшие облака. Он наклонился над городом и увидел разом всю картину вечерних огней, мглы, сырости, липкой грязи на тротуарах, блеклых лиц и мерцающих огоньков сигарет. Генка услышал, как свистят в сквере и ругаются на мостовых, как лает где-то собака, оставленная в пустой квартире, и плачет на скамейке пьяный старик, утирая шляпой мокрое лицо. Его город с поваленными фонариками и перекошенными домами выглядел так непривлекательно и так безнадежно, что Генка в отчаянье укусил себе палец, чтобы не разреветься.

Однако тут же он со злостью схватил фанерку и установил ее наклонно, под большим углом к столу. Какие-то мелкие фигурки, отчаянно крича, посыпались с нее, как мусор, и Генка старательно и безжалостно сдувал тех, кто цеплялся за ограды и фонари. Для убедительности он пристукнул краем фанерки по столу, чтобы стряхнуть всех без исключения, и решительным, легким взмахом руки смел мусор со стола на пол.

В городе стало тихо.

Потом Генка поправил дома, воткнул фонари вдоль улиц и соскреб пластилин на месте пивного ларька. Там он приклеил бумажку, на которой карандашом крупно написал: «Свете подарок в день рождения от Гены».

Когда он шел обратно к Светочке в белой рубашке, держа перед собой город, точно какой-нибудь торт, на улицах было чисто и спокойно. Серые облака провалились за горизонт, за самый край фанерки, дома были на удивление устойчивы, а луна висела в небе, спелая, как яблоко «шафран».

«Из чего она сделана?» — подумал Генка, а затем он подумал о том, что хорошо бы смастерить еще один город — побольше и понарядней, только непременно с небом. Он подумал, как здорово будет втыкать



в это небо серебряные звезды из шоколадной обертки и приклеивать желтую глянцевую луну, которую он собирался вырезать из рекламного проспекта японской обувной фирмы, давно уже выменянного им для нужд строительства.

1973

## ЖЕЛТЫЕ ЛОШАДИ

Для начала нужно было покрасить этих лошадей в желтый цвет, чтобы они стали желтыми лошадьми. Поскольку у него не было других красок, кроме акварельных, выбирать не приходилось. Тимка налил воды в блюдечко и подошел к первой лошади.

— А вас потом, — сказал он двум другим. Они согласно кивнули и улеглись на диван валетом, свесив длинные головы по краям. Тимка дотронулся до первой лошади кисточкой, разбухшей от желтой краски, и провел тонкую линию по боку. Лошадь вздрогнула и покосилась на Тимку влажным печальным глазом.

— Ничего, — сказал Тимка. — Потерпи немного. Ты станешь настоящей желтой лошадью.

Лошадь послушно опустила морду и принялась жевать начинку старого бархатного кресла, стоявшего в углу комнаты. Обшивка кресла была порвана уже давно. Из дыры высывались не то стружки, не то солома — длинные и сухие стебельки, которые лошадь вытягивала изнутри губами и с удовольствием ела.

Тимка провел еще несколько полосок и удостоверился, что поверхность лошади слишком велика для его кисточки. Тогда он размешал краску в блюдечке и облил лошадь сверху. Для этого ему пришлось встать на стул. Краска потекла по бокам струйками, и Тимка едва успевал размазывать их пятерней. Лошадь терпеливо ела кресло, а две другие сочувственно ей улыбались.

— Готово! — сказал Тимка, повторив операцию три раза.

Лошадь выкрасилась не очень равномерно, с разводами. Она оглядела себя в зеркале и пошла на кухню сохнуть. Две другие разом вскочили с дивана, потом

смутились и долго пропускали друг друга вперед на покраску. Тимка никогда не встречал таких вежливых лошадей.

Краски хватило еще на полторы лошади. Таким образом у Тимки получились две с половиной желтых лошади. Выкрашенная наполовину лошадь судя по всему не обиделась, а даже показала своим видом некоторую гордость. Ей приятно было отличаться от остальных лошадей. Впрочем, она гордилась очень тактично, не ущемляя самолюбия своих подруг по счастью.

Все вместе они сели за стол, будто ожидая чего-то. Лошади немного волновались, водя желтыми хвостами по паркету, а Тимка сидел серьезный, то и дело поглядывая на стенные ходики с двумя гирьками в виде еловых шишек.

Из ходиков вылетела раскрашенная деревянная кукушка и сделала круг по комнате, громко кукуя на лету. Лошади проводили ее глазами. Кукушка крикнула пять раз и юркнула в маленькое окошко над циферблатом. Ставни окошка со щелчком захлопнулись, гири ходиков вздрогнули и закачались.

Первая лошадь зевнула, показав ровные зубы, похожие на клавиши пианино. Вторая лошадь вопросительно на нее посмотрела и покачала головой. Лошадь, выкрашенная наполовину, улыбнулась несколько иронически, а Тимка с тоской еще раз взглянул на стрелки ходиков, которые были будто приклеены к циферблату.

Еще раз вылетела из часов кукушка и присела на плечо Тимке.

— Пора! — сказал Тимка. — Пошли!

Лошади, задевая друг друга желтыми боками, вышли на лестничную площадку, где горела конопатая бледная лампочка. За ними вышел Тимка, одетый в выходной матросский костюм. Кукушка, щелкая деревянными крыльями, заметалась было в прихожей, но успела все-таки вылететь в щель, пока Тимка закрывал дверь. Часы в доме остановились.

Они спустились вниз медленно и осторожно, потому что лошади то и дело оступались и неумело перебирали ногами, распределяя их по ступенькам

лестницы. Цокот их копыт отчетливо разносился по каменным пролетам, и можно было подумать, что это целый кавалерийский полк ступает по первому звонкому льду замерзшего за ночь озера. Над ними летала кукушка, трепеща сухими легкими крыльями, а сзади шел Тимка с неподвижным и задумчивым лицом, что было не совсем для него характерно.

Процессия вышла на улицу и последовала по проезжей части неторопливо и с достоинством, как и подобает процессии из двух с половиной желтых лошадей, семилетнего мальчика и желтой кукушки.

А в это время родители Тимки, его мать и отец, молодые еще люди, разве что с усталыми и равнодушными лицами, сидели на плоской скамье в коридоре официального здания. Они сидели на самом краешке, будто присели на секунду и сейчас уйдут. При этом они смотрели в стенку напротив, на которой не было ровно никаких достопримечательностей. Их взгляды скользили параллельно друг другу, не пересекаясь, но было заметно, что это равнодушие и отъединенность даются им с трудом. Так ведут себя два заряженных металлических шарика, между которыми вот-вот проскочит быстрая искра.

Раскрылась дверь рядом со скамьей, и оттуда выглянула женщина с бумагами в руках. Она выкрикнула в пустоту коридора фамилию Тимкиных родителей и поспешно скрылась, точно кукушка в деревянном корпусе стенных часов. Эхо ее голоса прокатилось туда-сюда по коридору и осело на стенках в виде пыли. Отец и мать Тимки поднялись со скамьи и вошли в комнату за дверью, причем отец изобразил на своем лице печальную улыбку, пропуская жену вперед.

Там, внутри, пахло строгим и дисциплинирующим запахом гербовых бумаг, несмотря на то что комната была обыкновенная, обставленная примитивно. У одной стены за столом сидели три человека — две женщины и мужчина. У двух других стен стояли скамьи, такие же, как в коридоре. Остальную часть комнаты занимали расставленные в беспорядке стулья для зрителей, которых в настоящий момент не было.

Классическая обстановка суда для ведения гражданских дел.

Муж и жена снова уселись на скамью, потом встала одна из женщин и ровным, бесцветным голосом прочитала какую-то бумагу. Через минуту в комнате возник скучный, стандартный разговор бракоразводного процесса с его односложными репликами, похожими на детские кубики. Домик, построенный из кубиков в свое время, сейчас в спешке разбирался на части, и каждый уносил свою долю.

— Вы определенно решили? — спросил судья.

— Да, — быстро проговорила мать Тимки, будто опасаясь, что секундная заминка непростительна.

— Да, — сказал муж.

— А ваш ребенок?

— Он будет приходить к нему. Я не возражаю, — сказала жена, не глядя на Тимкиного отца.

— Мы обо всем договорились, — добавил тот.

И стороны приступили к дележу совместно нажитого имущества, включая сюда и старое бархатное кресло, съеденное желтой лошадкой полчаса назад, и часы с кукушкой, которая в этот момент летела по улице, и кастрюли, и одеяла, и книги. Утомительное, грустное, но совершенно необходимое занятие при разводе. Надо сказать, что никаких унижительных споров не возникало, ибо родители Тимки были людьми воспитанными.

— Все? — спросил судья, когда вещи были разделены.

И тут впервые муж и жена взглянули друг на друга, взглянули с некоторым испугом, потому что им обоим вдруг показалось, что осталось еще нечто, о чем они забыли. И тогда в коридоре возник глухой тяжелый топот, который неудержимо нарастал, так что на лицах судьи и заседателей выразилось недоумение.

Высокая белая дверь распахнулась, и в комнату заглянула желтая лошадиная морда, а потом вошла лошадь — желтая, как солнце на детских рисунках. В суде стало светлее, на стенах заиграл веселый желток, отсвет которого упал на фигуры судьи и заседателей, медленно привставших со своих мест.

За первой лошадкой последовала вторая, еще ослепительнее, а потом и третья, выкрашенная наполовину. И когда вслед за ними в зал суда вошел Тимка

в матросском костюме, над головой которого вилась деревянная кукушка, казенные стулья с инвентарными номерами на ножках сгрудились в кучу и один за другим в ужасе попрыгали в окно. Лошади, помотав головами, разлеглись на освободившемся месте, а Тимка встал перед ними, скромно уставившись в пол.

— Чьи лошади? — хрипло спросил судья в наступившей тишине.

— Мои, — сказал Тимка.

— Это наши, наши лошади! — поспешно проговорила мать Тимки, делая к нему шаг.

Лошадей в знак согласия закивали головами, прикрывая длинные и желтые, как лепестки подсолнуха, ресницы.

— Что ты говоришь? Какие наши лошади? — воскликнул Тимкин отец. Он почему-то разволновался, подскочил к сыну и дернул его за плечо.

— Где ты взял этих лошадей?

— Я их нашел, — безмятежно заявил Тимка. — Только они раньше были серые, а я их покрасил.

— В конце концов, почему бы и нет? — спросила мать Тимки и вдруг улыбнулась так, что ее несчастное лицо сделалось гораздо моложе и красивей. Она смутилась своей улыбки, покраснела, но стала от этого еще привлекательней. Муж посмотрел на нее с гневом и уже раскрыл было рот, чтобы возмутиться, однако не возмутился, а тоже улыбнулся растерянно и, прямо скажем, глуповато. Все стояли и улыбались, кроме судей, — и Тимка, и его родители, и желтые лошади, и кукушка, которая от радости делала в воздухе кульбиты.

— Послушайте! — вскричал судья. — Если это ваши лошади, то, во-первых, их нужно срочно разделить между вами, а во-вторых, вывести на улицу. Здесь им не место.

Лошади встали на ноги и дружно ударили копытами в пол. С лошадиных ног тонкой цветочной пылью посыпалась желтая краска. Первым опомнился отец Тимки. Он подошел к мальчику и усадил его на лошадь, выкрашенную наполовину. Потом он посадил свою жену на вторую лошадь, а сам вспрыг-

нул на первую с таким видом, будто он всю жизнь объезжал желтых лошадей.

— Куда же вы? — спросил судья. — Ваш процесс еще не окончен.

— Да подождите вы! — с досадой сказал отец. — Нам нужно разобраться с этими лошадьми. Это ведь живые лошади!

— Ну, как знаете. . . — развел руками судья.

И вся семья выехала на улицу. Впереди Тимка, за ним мать, а сзади отец. Под окнами официального дома валялись сломанные стулья. Лошади осторожно обошли их и направились шагом в обратный путь, домой. Тимкин отец ехал, не поднимая глаз, потому что ему, взрослому человеку, было стыдно появиться верхом на желтой лошади. Когда же он поднял глаза, чтобы посмотреть на светофор, ибо даже верхом на лошади нужно выполнять правила уличного движения, он увидел, что в городе полным-полно лошадей. Мимо них проносились на красных лошадях влюбленные, домохозяйки с сумками восседали на зеленых лошадях, а в скверах на белых лошадях гарцевали пенсионеры. Даже дети катались повсюду на разноцветных пони, похожих на воздушные шарики.

Была ранняя осень. По улице, подгоняемые ветром, бежали сухие, желтые листья. У Тимкиного отца сдуло шляпу, и она покатилась по асфальту, как оторванное колесо детского велосипеда. Но он даже не обратил на это внимания.

— Куда же мы поедem? — нерешительно спросила Тимкина мама.

— Домой, — сказал Тимка. — Нужно посадить кукушку в часы. Она уже забыла, который час.

Тут пошел голубой дождь с неба, слепой редкий дождь, подсвеченный из-под кромки тучи прохладным, осенним солнцем. С лошадей потекли по асфальту желтые ручейки, которые собирались в один желтый ручей позади процессии и несли на себе желтые листья. Лошади на глазах меняли окраску и превращались в голубых блестящих лошадей, шагающих величавой походкой. На их спинах, вцепившись в мокрые гривы, сидели Тимка, его мать и его отец. Лица родителей были похожи: они были чуть-чуть грустны,

спокойны и светлы, а в уголках рта пряталась одна и та же улыбка. Они смотрели на Тимку.

— Странно, — сказал Тимка, оглядывая свою лошадь. — Они все раньше были серые, а теперь голубые.

— И все-таки, где ты их взял? — спросила мать.

— Я нашел их в старых фотографиях, — признался Тимка.

Мать оглянулась на отца и засмеялась совсем по-детски, как она умела смеяться десять лет назад.

— Ты помнишь? — спросила она.

И они разом представили себе ту любительскую фотографию, запечатлевшую их в молдавской деревне во время свадебного путешествия. Они, молодые и смеющиеся, сидели обнявшись в легкой повозке, запряженной тройкой серых лошадей, а на переднем плане стоял старик в длинной шапке и с усами, который позировал с самым серьезным и старательными видом.

— А я вас не узнала! — сказала Тимкина мать, поглаживая свою лошадь по шее.

— А старик? Что сказал старик? — спросил вдруг Тимкин отец.

— Он сказал, что подождет, пока я покатаюсь, — ответил Тимка.

— Опять ты врешь, Тимка! — закричал отец, смеясь. — Он и по-русски не понимал, тот старик!

— Он все понимал, — упрямо заявил Тимка и ударил каблуками свою лошадь. Она вскинула голову и понеслась по улице легкой стелющейся рысью, а две другие, победно заржав, бросились за ней вдогонку.

Три голубых лошади с тремя всадниками, составлявшими небольшую семью, мчались по улице, а за ними стрелой летела деревянная птица, кукуя без умолку. Они спешили домой, где в старом, съеденном лошадью бархатном кресле, дремал старик молдаванин, ожидая их возвращения.



# БРАТ И СЕСТРА

## 1. ИГРА В СОБАКУ

Лучше всего сидеть в шкафу. Там внизу сложены свитера и кофты, они мягкие. А сверху висят папины костюмы, мамины платья и Ольгины. Сбоку висит рваный халат. Он пахнет мамой. Я утыкаюсь в него носом и нюхаю. В темноте хорошо нюхать.

Скоро они меня начнут искать. Сначала мама спросит: «А где Сергей?» Я сразу затаюсь, укушу халат, чтобы было тихо, а мама забудет, что меня ищет. Потом минут десять пройдет, и мама как крикнет: «Сережа! Я же тебя давно зову! Почему ты не идешь?» А папа скажет: «Никакой дисциплины в семье».

Ту они все бросятся меня искать. Начнут хлопать дверями в ванной и туалете. Папа скажет, что я, наверное, удрал гулять, а мама скажет, что она меня никуда не отпускала. Тогда папа сильно засопит носом и тихо так скажет: «Ну, я ему задам!» Мне станет очень страшно в шкафу, и я вспомню, что еще не сделал уроки. Они ведь сразу закричат: «Почему уроки не сделаны?» А папа может по башке трахнуть, если долго будет искать.

Ольга меня выдаст, я знаю. Она лежит на тахте и смотрит на своего Элтона Джона. Он такой противный, как белогвардеец. «Жутко наглый вид» — так папа сказал. Ольга будет лежать и молчать, пока родители носятся туда-сюда. Это она их дразнит. А потом скажет лениво: «Он, наверное, опять в шкафу сидит». Ольга — предательница.

Папа так дернет за дверцу, что шкаф вздрогнет. Я еще успею увидеть папу — он снизу кажется очень большим, но мама этому не верит, она говорит, что папа ростом не вышел и я скоро его перерасту. Скорей бы его перерасти! . . Тут он как крикнет: «Ты что,

с ума сошел?!» — и я быстро зароюсь в свитера и кофты. Они с мамой начнут меня вытаскивать, все свитера тоже вывалятся на пол, тут-то я и получу по башке. Хорошо, если через свитер.

Папа еще заорет: «Что ты тут делал?!» Не могу же я сказать, что я здесь, в шкафу, думаю.

А может, обо мне сегодня не вспомнят. Можно сидеть хоть до вечера, хоть до ночи и думать обо всем. В шкафу я не боюсь ничего думать, ведь никто меня не видит. Снаружи как подумаешь что-нибудь такое, так они сразу начинают приставать. Они говорят, что у меня на лице все написано. Это неправда, ничего там не написано.

Интересно, зачем я им нужен? Они говорят, что меня любят. Меня у них долго не было, они с одной Ольгой мучались и скучали по мне. А потом я родился у мамы. Я уже знаю, что сидел в животе очень долго, пока они меня ждали. У нас пионервожатая в школе ходила с животом, а потом пропала. Мы тогда не знали, куда она пропала, и не узнали бы никогда, если бы не Ольга. У Ольги появилась такая большая книга, называется «Женщина». Я ее стал читать, а там буквы почти все наши, но некоторые не наши. И твердый знак везде. Но в общем, все понятно, только скучно.

Там написано, что женщины рожают детей!

Вот и я у мамы родился очень давно, девять лет назад. Интересно, мог бы я совсем не родиться? Ни у мамы, ни у пионервожатой, ни у Генриэтты Викторовны? Лучше всего родиться у мамы, у Генриэтты Викторовны неинтересно. Она в этом году стала нас называть на «вы». В прошлом году еще ругалась, а сейчас вызывает к доске и говорит: «Что вы мне тут лепечете?» У них было постановление педсовета, что с нами теперь нужно обращаться вежливо.

Нет, у Генриэтты Викторовны я бы ни за что не родился.

Потом книга «Женщина» у Ольги исчезла. Папа дал Ольге по шее за то, что я ее читал. А мама у меня выпытывала, понял я там что-нибудь или не понял. Я сказал, что не понял, чтобы ее не расстраивать.

Я люблю с мамой лежать, когда папы нет дома. Мама теплая, она смеется, когда я ее целую. Папа

приходит и все портит. При нем я не могу целовать маму. Он сразу спрашивает: «Ну, как дела в школе?» Я говорю: «Нормально». Он сам всегда так говорит маме. Потом папа уходит в кухню есть. Мама идет с ним, они там сидят за столом. Папа ест, а мама курит. Я не люблю, когда она курит. Она раньше совсем не курила, а потом стала курить. Они с папой часто ссорились на кухне и говорили про деньги. Я сидел в другой комнате и слушал. Я ужасно не люблю, когда они ссорятся.

Хорошо сидеть в шкафу и думать про все на свете! Я недавно узнал несколько интересных вещей. У нас с Ольгой раньше был дедушка, а потом он вдруг умер. Мама сказала, что мы все тоже умрем. Я этому совсем не верю. Этого не может быть, чтобы все мы — и папа, и Ольга, и я, и мама — взяли и умерли. На похоронах дедушки меня не было. Я сидел в шкафу и трясся. Мне было жалко всех за то, что они умрут. Особенно мне было жалко собак.

У нас когда-то была собака. Мама пошла на базар за шерстью, а купила щенка. Он был круглый как мяч и катался по полу. Я с ним хотел подружиться, но у него завелись глисты. Папа увидел эти глисты и сказал, что щенка нужно отдать. Мама положила его в корзинку для грибов и куда-то увезла. Она вернулась с пустой корзинкой, а я два часа в шкафу плакал. Щеки я вытирал папиными брюками, они все промокли. Мама вытащила меня из шкафа, и мы с ней поплакали вместе. Она сказала, что отдала щенка в хорошие руки.

Потом я долго думал о нем, как ему живется в хороших руках. Как увижу собаку, так и думаю: в каких она руках? А потом уже думаю: в каких я руках? И получается, что я похож на собаку.

Мама часто меня спрашивает, почему я такой грустный. Я ей отвечаю, что я всегда грустный. Мама тогда пугается, начинает прижимать мою голову к себе и гладить. От этого мне становится еще грустнее, и я вспоминаю снова нашего щенка.

Когда мы с Максиком после уроков пошли на пруд, я ему предложил сыграть в собаку. До этого мы играли в подводную лодку и песочные часы. Максик сказал,

что он не умеет играть в собаку. Тогда я встал на четвереньки и тихонько заскулил. Так делал наш щенок, когда у него завелись глисты. Максик засмеялся и залаял. Я тоже стал лаять. Мимо проходил человек и зарычал. Мы с Максимом убежали.

Мы даже назвать щенка не успели. Теперь уже его не назовешь.

Может быть, они забыли обо мне или думают, что я делаю уроки? . . . А я сижу в шкафу и думаю про английский язык. Мне подарили книгу Пришвина на английском языке. Я взял у папы толстый словарь Мюллера и стал переводить книгу на наш язык. Мюллер — это тот фашист, который боролся со Штирлицем. Первого слова я в словаре не нашел. Я пошел к папе и показал слово. Он засмеялся и сказал, что это артикль. Он в русском языке не нужен. Потом меня Ольга долго учила говорить этот артикль и ужасно злилась. Я говорил «зэ», а она орала на меня, что не «зэ», и не «сэ», и не «дэ», а что-то среднее. И шипела: «С-зэ!» А зачем нам слова, которые не нужны?

Мама обрадовалась, что я перевожу Пришвина, и стала искать мне учительницу английского языка. Я перевел полстраницы, и папа достал с полки настоящего Пришвина и начал сравнивать. Он сказал, что у меня лучше. А учительницу мне не нашли, потому что она берет за уроки большие деньги. Тогда я подумал, что все учителя берут за уроки деньги, и спросил Генриэтту Викторовну. Она написала в дневнике, чтобы мама пришла в школу. Мама пришла после уроков и долго говорила с Генриэттой Викторовной. Дома мама сказала: «Генриэтта совсем рехнулась! Она думает, что мы Сережу воспитываем антипедагогически».

Больше всех меня воспитывает Ольга. В школе она ловит меня на перемене и сразу начинает орать: «Мама сказала! . . . Попробуй только не сделай!» Прямо как сумасшедшая. У нее сейчас переходный возраст. Когда я был маленьким, я думал, что мы с Ольгой вырастем и поженимся. А теперь я не хочу на ней жениться. У нее есть мальчик из десятого класса. Его зовут Сашка. Он в нашем доме живет и гуляет с эрдель-

терьером. Сегодня Сашка ей сказал: «Приходи ко мне вечером, у меня предки в театр идут. Послушаем «Исуса», поторчим. . .» Мама говорит, что они на этом «Исусе» прямо помешались. И не пустила Ольгу. Поэтому она сейчас злая лежит и смотрит на Элтона Джона.

Ольга читает желтую книгу маминой бабушки. Называется «Евангелие». Там про Иисуса написано, но непонятно. Я пробовал читать. А «Суперзвезда» мне тоже нравится, особенно там, где его гвоздями приколачивают и считают: «Твенти фэйв! Твенти сикс!» Но все равно Сашкин эрдель лучше.

Когда я вырасту, я не буду жениться на девчонках. Они все дуры. Я лучше куплю себе собаку и буду с ней гулять. Я научу ее играть в человека.

С Максиком я, наверное, буду дружить, потому что Максик — мой друг.

Этим летом мы с мамой были в спортивном лагере. Он так называется — «спортивный лагерь», а на самом деле там ловят рыбу и собирают грибы. Ольгу отправили в КМЛ, а папа где-то работал. Ольга писала нам из КМЛ письма. Ей там не нравилось. Я ходил по лагерю и пел Ольгино письмо: «Ни кайфу, ни лайфу, хоть фэйсом об тэйбл!» За мной бегал Тузик. Тузик мне не очень нравился — у него лапы короткие, и он много воображает из себя. Хозяин у него профессор. Зато у дяди Игоря была лодка с мотором, и он нас катал с мамой. У дяди Игоря нет сына такого, как я, и он меня спрашивал, пойду я к нему в сыновья или нет. Мама смеялась и говорила: «Игорь, перестань!» Вообще, он хороший, но я к нему идти не хочу. Папа обидится.

Один раз я поймал щуку на спиннинг. Она меня чуть не укусила. Дядя Игорь ко мне подбежал и сломал ей голову. Мне ничуть не было жалко щуку. Интересно: почему собак мне жалко, а рыб нет? Наверное, потому, что собаки похожи на людей.

Все-таки они про меня забыли. Папа, наверное, смотрит хоккей, а мама вяжет Ольге шарф. Она уже связала шарф выше, чем я, а Ольга говорит, что нужно три метра. Нужно, чтобы он болтался до земли двумя концами.

Может, крикнуть им из шкафа что-нибудь?

Они обо мне вспоминают, когда нужно есть. Или идти в школу. Или когда вдруг приходит бабушка. Тогда меня начинают искать. Но сегодня бабушка не придет, и мы уже поужинали. Значит, я зря сижу в шкафу и думаю.

Этим летом я видел настоящую конуру. Она мне так понравилась, что я в нее заполз. Конура была в деревне рядом с лагерем. Там жила лохматая черная собака. Мы с ней сразу познакомились, и она пустила меня в конуру. В конуре пахло сеном, и валялась большая белая кость. Я не успел как следует устроиться в конуре, как мама меня вытащила, треснула и сказала, что я совсем ненормальный. Если бы у меня была собака, мы бы вместе сидели в шкафу.

Очень хочется с кем-нибудь посидеть в шкафу.

Здесь так темно, что кажется, будто меня нет. Или еще кажется, что я один во всем мире. Я такой большой-большой, темный и думаю, думаю. . . И несусь куда-то к звездам. Зря они все считают, что я маленький. Теперь я точно знаю, что я всегда был и буду. Ольга вчера спросила у папы, есть ли Бог. «А что такое Бог?» — спросил папа. «Ну Бог. . . Иисус», — сказала Ольга. «Твой Бог отштампован миллионным тиражом на дисках», — сказал папа. Ольга фыркнула и обиделась.

А я знаю.

Когда никого нет дома, я лежу на диване и смотрю телевизор. Боком смотреть телевизор неудобно, но я привык. Я лежу в одеяле и жду. Я слушаю лифт. Если лифт гудит долго, значит, кто-то едет к нам на девятый этаж. Потом хлопает дверь лифта и я начинаю ждать: позвонят к нам или нет. Лучше, когда они открывают дверь сами. А если звонят, то я встаю с дивана и смотрю в дверной глазок. В дверном глазке все какие-то кривые и смешные. Особенно папа. Я его никогда не узнаю и спрашиваю: «Папа, это ты?» А он отвечает: «Ты что, не видишь?»

Вообще-то я радуюсь, когда он приходит домой. Но я радуюсь тихо.

Скорее бы вырасти и купить лодку с мотором! Я посажу в нее маму и свою собаку. Мы поедем

по озеру. Нет, сначала я дерну за веревку и заведу мотор. Летом я пробовал дергать, но у меня не хватало силы. Максика я тоже посажу в лодку. А потом мы все-таки поедem по озеру.

Ольга будет уже замужем, а папа будет где-нибудь работать. Он всегда где-то работает. Мама будет сидеть в лодке и вязать мне свитер, как у дяди Игоря. Моя собака будет стоять на носу и смотреть вперед. А Максика, наверное, его мама не пустит. И я расскажу своей маме, как я в детстве играл в собаку.

Последний раз я играл в нее летом перед отъездом в лагерь. Я хотел проверить, как собаке живется на цепи. Цепи у меня не было, и я решил походить на веревочке. Я достал веревочку, прицепил к ней железное колечко и надел его на бельевую веревку во дворе. Другой конец веревочки я обвязал вокруг шеи. И стал ходить взад и вперед. А колечко скользило по бельевой веревке.

Сначала мне было интересно. Я сторожил склад боеприпасов.

А потом пришла тетка с тазом. В тазу была гора мокрого белья. Тетка удивилась и спросила: «А ты что здесь делаешь?» «Сторожу склад», — сказал я. «Выпороть тебя этой веревкой, чтобы глупостями не занимался!» — сказала она. Потом она поставила таз, отцепила мое колечко и стала вешать белье. «Давайте я буду сторожить белье», — сказал я. Она вдруг рассердилась и стала орать: «Вот я тебя к родителям отведу! Вот я тебя в школу отведу! Хулиган проклятый!» Я убежал и спрятался за мусорный бак. Меня прямо затрясло. Что я ей плохого сделал?

Она повесила белье, несколько раз оглянулась и ушла со своим тазом.

Тогда я пошел домой и взял в кухне спички. Я еще не знал, что я сделаю, но почему-то взял спички. Со спичками я залез в шкаф. Дома никого не было. Я сидел в шкафу и мне хотелось плакать. Вот я и побыл собакой! Но я не заплакал, а осторожно зажег спичку. Она осветила мамино праздничное зеленое платье с цветами. Я дунул на спичку, и цветы исчезли.

Я подождал, наверное, час, а потом снова вышел во двор. Белье уже высохло. Там висели простыни, рубашки, трусы какие-то, а особенно трепыхалась одна женская рубашка на ляпочках. Она была розовой и блестящей. Я подбежал к ней и сразу поджег ее снизу. Она вспыхнула, как газ, а я побежал далеко. Потом я оглянулся и увидел, что веревка перегорела, и белье свалилось на землю. Розовая рубашка догорела и погасла. Я прибежал домой, опять спрятался в шкаф и только тут заплакал.

Так я последний раз играл в собаку. Мама об этом ничего не знает.

Наверное, они уже уснули с мамой. И Ольга уснула. И Сашкин эрдель уснул. Может быть, уже давно ночь или уже следующий день? Может быть, я уже пропустил школу? . . Обо мне все забыли. Я уже вырос. Сейчас выйду из шкафа и сразу пойду работать. А вечером пойду искать собаку. . . С мамой хорошо. . . Ольга завтра будет орать. Пускай! . . На свитерах мягко. Халат пахнет мамой, как будто она вышла из ванной и расчесывает волосы перед зеркалом. А я лечу в темноте, лечу. . .

Кажется, это мама кричит: «Сережа, ты где? . .»

## 2. ЭЛТОН ДЖОН

Генка встретил меня на улице и говорит:

— Хочешь со штатницей переписываться? У меня адрес есть. . .

И дал мне этот адрес. Калифорния, номера какие-то и фамилия штатницы. То есть все наоборот: сначала имя и фамилия, потом номера, Калифорния и только в конце — Ю-Эс-Эй. Соединенные Штаты. Это потому, что у них главное — личность.

А у нас сначала общественное, а потом личное. Страна, город, улица, номер дома, номер квартиры и только потом — имя и фамилия. Меня это различие поразило. И я, когда писала письмо этой Фрэнни, обратный адрес указала по-американски: Мисс Ольга Горчакова, номер квартиры, номер дома, улица, а в конце — Ленинград, Советский Союз.



У меня к себе даже уважение возникло, с таким адресом.

Скоро будем писать название планеты. Ольга Горчакова, Советский Союз, Земля. Фрэнни Редгрэйв, Соединенные Штаты, Земля. Это когда человечество распространится в космосе.

Родители, по-моему, слегка дергались, когда я писала письмо Фрэнни. Папа прибежал к нам в комнату, схватил адрес и пошел к маме. Они долго шептались, а потом он пришел и говорит:

— Знаешь, ты лучше наш обратный адрес не давай. Напиши адрес школы или до востребования.

— Почему? — спросила я.

— Почему, почему! — рассердился папа. — Вырастешь — узнаешь.

— Я уже выросла, — сказала я.

Папа снова убежал в свою комнату, и они стали с мамой говорить громче. Папа кричал:

— Теперь разрядка! Я не желаю всю жизнь трястись! В конце концов, что в этом плохого? . .

Потом он пришел, положил листок с адресом на стол и сказал:

— Пиши. Ничего не бойся.

А я ничего и не боялась. Я боялась только, что Фрэнни не поймет мой английский язык.

Сережка тоже взял листок бумаги и стал писать письмо в Штаты. Он все время обезьянничает. Сережка писал по-русски и с ошибками. Даже я с трудом понимала, что он там пишет. Представляю, как будет обрадована Фрэнни! Но я все равно запечатала Сережкин листок вместе со своим письмом. Мама как-то сказала, что нельзя у ребенка создавать комплекс неполноценности. Он такой же гражданин, хотя и маленький, и имеет столько же прав.

Я написала Фрэнни, как мы живем вчетвером, какие у меня увлечения и что мы делали летом. Сережка передал привет американским космонавтам, которые стыковались с нашими. Я запечатала письма в специальный конверт, с маркой за тридцать две копейки, и опустила в ящик.

Как-то не верилось, что письмо окажется в Америке.

Целый месяц я проверяла почтовый ящик. Папа все время интересовался, есть ли ответ. По-моему, он нервничал, потому что много курил в кухне. Они с мамой высчитывали, сколько времени идут письма в Америку и обратно. Вообще, если самолетом, то это совсем недолго. Но мое письмо могли отправить и паромом, тогда возможна задержка.

Письмо от Фрэнни обнаружил папа. Он пришел вечером домой и выложил нераспечатанный конверт с американскими марками. А сам стал ходить рядом и интересоваться. Я вскрыла конверт и прочитала письмо от Фрэнни. Оно было такое же, как мое, только у Фрэнни семья была побольше. У нее оказалось три брата и две сестры. Мы с Сережкой даже расстроились немного. Всегда считалось, что у нас довольно большая семья по нынешним временам. А тут — шестеро детей!

Еще в конверте была фотография американских космонавтов и маленький портрет Фрэнни. Ей тоже шестнадцать лет, а выглядит она моложе меня. Вообще-то, она довольно некрасивая, но такая милая! У нее веснушки видны даже на маленьком портрете.

Папа очень обрадовался и все кричал маме: «Вот видишь! И ничего! И все прекрасно!» Будто он ожидал получить в письме нейтронную бомбу.

Когда я снова встретила Генку, то похвасталась письмом. Генка раньше учился со мной в одном классе, а после восьмого пошел в техникум. Он как-то сразу вытянулся и переоделся в импортное. Мне говорили, что он торчит у гостиницы «Европейская» и кланчит резинку у «фиников». Это по-генкиному — финны.

— Теперь ты ее наколола, — сказал Генка. — Смотри не отпускай. Проси диски и джинсы. Ей ничего не стоит, а здесь ты толкнешь прилично.

— Вот еще! — сказала я. — Толкать я ничего не собираюсь.

— Тогда себе, — сказал он. — Ты что, фирменные джинсы иметь не хочешь?

— Хочу, — сказала я.

Я и вправду очень хотела джинсы. У одной девочки из нашего класса есть джинсы. Ей папа привез из Франции. А мой папа никогда во Францию не

ездил и, по-моему, не поедет. Он даже в Болгарию не ездил, хотя в Болгарии таких джинсов не купишь. Вообще-то, их можно купить и у нас, но стоят они безумно дорого.

Я как-то заикнулась родителям, что хочу купить джинсы.

— Это можно, — сказал папа. — Джинсы — это практично и модно. Сколько тебе дать денег?

— Можно достать хорошие за сто пятьдесят. А самые фирменные, новые — за сто восемьдесят.

— Как-как? — спросил папа. Он даже хоккей перестал смотреть. — Сколько они стоят? Да ты в своем уме?

Разве я виновата, что он не следит за жизнью?

Папа уже завелся. Теперь его было не остановить.

— Сто пятьдесят рублей за тряпичные штаны? — кричал он. — Да ты знаешь, что это моя месячная зарплата? Да ты знаешь, что я в твои годы. . .

«Сейчас он вспомнит, как бабушка перешивала ему дедушкины военные брюки», — подумала я. И точно:

— . . .носил все перешитое из отцовской формы!

— Сейчас другое время, — сказала я.

— Пускай! Мне наплевать на ваше другое время! Я остался прежним. Понимаешь, прежним! Я не желаю признавать штаны за полторы сотни! Все, что на мне надето, стоит меньше!

Конечно, я думаю. Он был в трикотажном тренировочном костюме и в тапках. Дома он всегда так ходит.

Я решила больше его не травмировать и не напоминать о джинсах. Но теперь, когда появилась возможность попросить у Фрэнни, мне захотелось этим воспользоваться. А что тут такого? Генке присылали несколько раз. Он их продавал. А я хочу для себя.

Я написала так: «Милая Фрэнни! Если тебя не очень затруднит, пришли мне, пожалуйста, джинсы 44-го размера. А я тебе пришлю. . .» Тут я стала раздумывать. Что я могу послать Фрэнни? Всякие тряпки отпадают, диски тоже, жевательной резинки у нас нет, а у них навалом. Оставались только сувениры — матрешки, балалайки и открытки с видами Ленинграда.

Я перевела мое письмо на английский и переписала его, но папа решил поинтересоваться, что я там написала. Он уже позабыл английский, поэтому попросил меня перевести. Когда он услышал про джинсы, то очень засопел и схватил письмо. Мы с Сережкой уже знаем, что папа сопит, когда сердится.

— Покажи, покажи, где это? — сказал он.

Я показала.

— Джи-инс! — закричал папа с невозможным произношением. После этого он разорвал письмо и побежал выбрасывать клочки в мусорное ведро. Я даже растерялась.

Папы не было минут пять, а потом он пришел и сел на тахту.

— Я хочу поговорить с тобой, — сказал он. — Я буду говорить об очень важной вещи. Слушай внимательно.

Я испугалась, потому что папа был бледный и какой-то жалкий.

— Я хочу поговорить с тобой о национальном самосознании, — сказал папа.

Я чуть под стол не полезла. А он начал говорить о том, что русские древнее американцев, что у нас культура, история и еще что-то. Я не помню. Про джинсы — ни слова.

— Да я знаю все это, знаю! — не выдержала я. — Нас этим в школе пичкают!

— В том-то и дело, что пичкают, — сказал папа. — А вы меняете свою страну на джинсы!

Я разревелась. Зачем он так говорит? При чем здесь страна? У нас просто таких джинсов пока не выпускают, у нас другие задачи. До джинсов просто руки не дошли, я же понимаю. Но если есть возможность, если есть...

Папе стало меня жалко. Он подошел ко мне и поцеловал.

— Дурочка ты еще маленькая, — сказал он. — Я не хотел тебя обидеть. Только, пожалуйста, ничего не проси такого, чего не можешь отдать. Ни в Америке, ни у соседей. Имей, пожалуйста, гордость.

— А можно мне просто подарить Фрэнни что-нибудь? — спросила я.

— Ну конечно! — обрадовался папа.

— А ты не думаешь, что я буду рассчитывать на ответный подарок? Вроде бы я просто дарю, но чуть-чуть надеюсь. Это ведь то же самое, только еще хуже.

Папа посмотрел на меня внимательно.

— А ты не такая уж дуручка, — пробормотал он и ушел в свою комнату обдумывать мои слова.

Сейчас подведет какую-нибудь философскую базу! Господи, почему мне достался такой вдумчивый папа? Другому бы тысячу раз плевать было, какие тряпки я заказываю в Штатах.

Он пришел сосредоточенный, походил от стола к тахте и сказал:

— Видишь ли, если у тебя действительно такие мысли, то лучше ничего не посылай. Лучше сдержись.

— А если они только чуточку, самую маленькую чуточку такие? — взмолилась я.

— Пошли скромный подарок ко дню рождения. И все! И никаких просьб. Просто долг вежливости. И все! К этому вопросу больше не возвращаемся.

Когда я нашим девчонкам из класса это рассказывала, они смеялись:

— Дура! Зачем ты ему перевела про джинсы? Родители сейчас ничего не понимают, с ними нужно круче.

Папа у меня и вправду чего-то не понимает. Он какой-то не такой. Я была на дне рождения у Алки, которой папа привез из Франции джинсы. Там, во-первых, квартира обалденная, а во-вторых, папа и мама. Папа нам рассказывал про Францию, Бельгию и другие страны. А мама была в японском халате, и от нее косметикой пахло очень приятно. Лицо у нее такое блестящее, как из журнала. Она угощала нас чаем, как это принято в Англии — с молоком. Чай мне не понравился. А потом мы плясали. У них японский стереопроектор и куча дисков, которые их папа брал одними ладонями за края.

Я все же послала Фрэнни в подарок набор с видами Петродворца и пластинку с русскими народными песнями. Папа сам ходил со мною на почтамт и заполнял

какие-то бумажки, чтобы отправить бандероль в Штаты.

— Подведешь ты нас под монастырь, — сказал папа, когда мы возвращались с почтамта.

Я посмотрела на него, чтобы понять, и вдруг все поняла. Я как сейчас помню этот день. Была весна, и солнце такое яркое, холодное после зимы и очень резкое. Не знаю, что со мною случилось, но я вдруг увидела папу со стороны. Я даже испугалась, потому что никогда так на него не смотрела. Он шел со своим старым портфелем в руках. Он всегда ходит с портфелем. В портфеле лежала банка с крышечкой под сметану и полиэтиленовый пакет для хлеба. Папа был в плаще, к которому мама утром пришивала пуговицу. Сначала они вместе искали эту пуговицу, чтобы была такая же, как остальные, но не нашли. Папа сказал, что, наверное, потерял ее. Мама стала ворчать, рыться в коробочке с пуговицами, потом нашла похожую и начала пришивать. Папа стоял рядом с виноватым видом. И мама вдруг заплакала.

Папа шел рядом по улице и щурился от солнца. Он был такой же, как все, абсолютно такой же — в магазинном плаще, в магазинных брюках, но мне почему-то стало его жалко. У папы есть одна оригинальная вещь, которой он гордится. Это запонки из янтаря. Их ему подарила какая-то знакомая женщина. Когда папа надевает эти запонки, он поет и шутит.

— Огурцы дают, — сказал папа. — Давай купим огурцов, маме будет приятно, что мы проявили инициативу.

И мы встали в очередь за огурцами. Папа был озабоченный, вертел головой и привставал на цыпочки, чтобы высмотреть из-за очереди, хватит ли нам огурцов. Огурцов нам, конечно, не хватило.

Зато сметану и хлеб мы купили.

Долгое время от Фрэнни не было никаких известий. Я уже забыла про письмо, потому что кончался учебный год и нужно было подтянуть литературу. Как всегда, мы обсуждали, где проведем лето. Сережка просил купить ему спиннинг и моторную лодку. Папа купил только спиннинг. В это время папа и мама часто разговаривали по ночам, когда ложились

спать. Я из-за стенки слышала звуки: «бу-бу-бу... бу-бу-бу!» — это папа; «ти-ти-ти...» — это мама. Слов слышно не было.

Папа стал раздражительным и иногда вдруг выкрикивал: «Денег не печатаем!» Он и раньше любил так говорить, но тогда они с мамой смеялись, а теперь уже не смеются.

Наконец я получила от Фрэнни бандероль. Пришло извещение, и мы с папой снова отправились на почтамт. Папа ворчал, что он теперь работает почтальоном больше, чем инженером. Я шла и думала: что же мне прислала Фрэнни? А вдруг джинсы? Может быть, она телепатически почувствовала, что мне необходимы джинсы?

Но Фрэнни телепатически не почувствовала. В бандероли оказались пластинка и журнал на английском языке. Вернее, это был не журнал, а альбом с цветными фотографиями про Элтона Джона — того самого певца, который был записан на пластинке.

На обложке был изображен Элтон Джон в огромных темных очках, в белоснежном костюме и в плоской белой шляпе. На лацкане пиджака у него висела маленькая фигурка Микки Мауса. Элтон Джон сидел на стуле и тремя пальцами, как авторучку, держал белую тонкую трость.

— Ишь ты... — сказал папа, взглянув на Элтона.

Я побежала к Алке, у которой есть стереопроектор, и мы стали слушать пластинку. «Клевый музон!» — сказала Алка довольно равнодушно, потому что у нее дома — целая полка импортных пластинок, которые ее папа привез из Франции и Бельгии. Мы прослушали Элтона Джона три раза подряд. В особенности мне понравилась одна вещь под названием «Крокодайл рок», что означает в переводе «Крокодильский рок». Очень заводная музыка. Под нее так и хочется прыгать.

У нас тоже есть проигрыватель, но старенький и обыкновенный. Алка сказала, что на нем Элтона Джона крутить нельзя — пластинка может испортиться. Но я даже не заикалась дома насчет стереопроектора. Я знала, что папа опять начнет волноваться и спрашивать, сколько он стоит. Я принесла

пластинку домой и стала переводить текст из альбома. Перевод я записывала в специальную тетрадь.

Элтон Джон — самый популярный эстрадный певец в Америке. В альбоме все про него рассказано. Он сначала был бедным и застенчивым юношей, жил в мансарде и сочинял песни, которые никто не хотел слушать. А потом внезапно стал знаменитым. Однажды он выступал в каком-то концерте и очень волновался. От волнения Элтон Джон перестал быть застенчивым, выбежал на сцену и вскочил на рояль. Он стал прыгать на рояле, стучать по клавишам ногами и петь. Публике это страшно понравилось. С тех пор он всегда ведет себя необычно: надевает разные оригинальные костюмы, рычит, бегаёт по сцене, ломает инструменты и стулья — в общем, делает то, что ему хочется. Песни он пишет очень быстро. За два дня он сочиняет целую пластинку песен, записывает её в своей домашней студии звукозаписи и выпускает в продажу. У него есть собственный самолет с баром и большой фонотекой на борту. Он летает по Америке с концерта на концерт и слушает в самолете новую музыку, чтобы не отстать от жизни. Когда ему хочется еще раз прославиться, он вытворяет что-нибудь изумительное. Он такой милый! Он играет в теннис с американскими чемпионами или начинает временно исповедовать буддизм.

Он еще сравнительно нестарый. Мой папа старше Элтона Джона на четыре года.

Когда я рассказала папе про Элтона Джона, он взял тетрадку с переводом и стал читать. Попутно он рассматривал его фотографии в альбоме.

— Какая-то мура собачья! — сказал папа. — Надеюсь, ты понимаешь, что это все мура?

— Почему мура? — спросила я.

— Потому что не в этом радость жизни.

А в чем радость жизни? Хоть бы объяснил.

Мама ничего не сказала про Элтона Джона, хотя тоже рассматривала его фотографии.

Они сейчас очень боятся, что из меня ничего не выйдет. Или еще боятся, что может случиться непредвиденное. Папа все время спрашивает про мальчиков: с кем я дружу, какое у них общественное лицо, курят



они или нет, что у них за родители и прочее. А мама иногда очень осторожно рассказывает мне случаи из жизни. Например, о том, как у одной знакомой дочка родила в десятом классе и какой получился скандал. Ну и дура, что родила! Мне-то что от этого?

А мальчишки у нас все курят и некоторые пьют. Девочки тоже пробовали — и ничего страшного!

Я обижаюсь, когда они говорят, что из меня ничего не выйдет. Интересно, чего бы они хотели? Наверное, они хотят, чтобы я была такая, как они. Бегала бы на работу, как ошпаренная, а дома рассказывала, какой у меня дурак начальник. А я не хочу, не хочу!

По-моему, это очень скучно.

Я не хочу вырастать. Я хочу, чтобы мне всегда было шестнадцать лет. Если бы еще удалось достать джинсы, было бы совсем хорошо. Мальчишки сразу начинают дергаться, когда ты в джинсах. Из наших мальчишек никто не хочет идти по стопам. То есть, заниматься тем же, чем родители. Девчонки тоже не хотят. Я однажды сказала об этом папе, а он как-то зло усмехнулся и сказал:

— Ничего! Заставят как миленьких! Жизнь вас обломает.

Кому нужна такая жизнь?

Весь кайф в том, чтобы самопроявляться. У нас сейчас все самопроявляются. Алка носит на шее кожаный кошелек. Правда, он обычно пустой, потому что деньги она сразу тратит.

— Настоящая женщина должна уметь жить без денег, — сказала Алка.

Она два раза была в коктейль-баре. Ее туда водил какой-то кинооператор.

Другие тоже самопроявляются кто в чем. У одного коллекция пустых пачек из-под американских сигарет. Он ими оклеил стенку. У другой жуткие, совершенно жуткие платформы. Она ходит, как цапля, и боится с них свалиться. У Сашки из нашего дома есть эрдель-терьер. А у меня теперь есть Элтон Джон.

Я никому не разрешала дома заводить Элтона Джона. Но однажды пришла домой вечером и еще на лестнице услышала, что в квартире гремит «Крокодайл рок». Я открыла дверь ключом и увидела, что папа

в нашей комнате ужасно прыгает и размахивает руками. Он не заметил, что я пришла. Папа был в расстегнутом плаще и в одних носках. Я стояла в прихожей совершенно обалдевшая и смотрела, как он пляшет. Папа тяжело дышал, подкидывал ноги, так что плащ задирался, приседал, очень смешно вертел задом, прищелкивал пальцами и временами невпопад выкрикивал:

— Рок! Рок! Рок!

Потом он вдруг вспрыгнул на тахту и стал прыгать на ней, как на батуте. Наконец он повернулся лицом к двери и заметил меня.

— Дщерь пришла! — закричал папа, и тут я увидела, что он пьяный. — Знаешь, что главное в жизни? Самое главное — это вовремя вспрыгнуть на рояль! Рок! Рок! . .

А Элтон Джон все визжал как заведенный.

— Ты знаешь, что такое рок? — закричал папа.

— Танец такой, — ответила я.

— Вот именно — танец! Это такой танец! — выкрикнул папа и вдруг сел на тахту, поставил ноги в носках на паркет и опустил голову. Руки у него повисли почти до пола.

— А где мама с Сережкой? — спросила я, потому что надо было что-нибудь спросить.

— Рок — это судьба, — хрипло сказал папа. — Ты этого еще не знаешь?

— Знаю, — сказала я. — Только я думала. . .

— Думай больше, больше думай. . . — сказал папа, еще ниже опуская голову. — А мама с Сережкой в магазине, наверное. Или в кино мама с Сережкой. Не знаю я, где они.

## ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Сомнений не было: ребенок говорил по-итальянски!

Это выяснилось, когда Парфеновы пригласили к младенцу специалиста. До того они принимали первые слова Павлика за нечленораздельную, но несомненно русскую речь и пытались разгадывать их. Павлик подрастал, язык его становился выразительнее, но Парфеновы по-прежнему не понимали ни слова. Врач-логопед, к которому они обратились, заявил, что речевой аппарат Павлика в полном ажуре. Он так и сказал — «в ажуре», произнеся это слово на иностранный манер. И тут у Парфенова-отца мелькнула дикая догадка.

На следующий день он привел в дом полиглота. Это был его школьный приятель, работавший в одном из институтов Академии наук. Приятель принес погремушку, уселся рядом с кроваткой Павлика и спросил на десяти языках:

— Как тебя зовут, мальчик?

Парфеновы поняли только первый, русский вариант фразы.

Павлик посмотрел на гостя с интересом и произнес в ответ какую-то длинную тираду, в которой присутствовало слово «Паоло».

Полиглот расцвел и задал Павлику еще вопрос. Ребенок снисходительно кивнул и принялся что-то доверительно рассказывать. Он был в голубых ползунках и держался за деревянные перила, стоя в кроватке, как на трибуне.

Они поговорили минут пять на глазах ошеломленных родителей. Потом Парфенов осторожно потянул гостя за рукав и спросил шепотом:

— Что с ним?

— Да он у вас прекрасно говорит! Великолепное

произношение! — воскликнул полиглот. — Правда, по-итальянски, — добавил он.

— Откуда у него эта гадость?! Совершенно здоровый ребенок! Он у нас даже ангиной не болел, — сказала Парфенова-мама.

— Может быть, у вас в роду были итальянцы?

— Клянусь, не было! — прижимая руки к груди и умоляюще глядя на мужа, сказала Парфенова-мама.

— Может статься, и так, — мрачно отрезал Парфенов. — За всеми не уследишь.

Так начались в семье Парфеновых трудности сосуществования. Отдавать мальчика в детский сад было стыдно, и Парфеновы с большими трудностями наняли приходящего переводчика-студента. Дошкольный период жизни Павлика прошел в неустанных попытках родителей выучить итальянский. Они закрепили несколько популярных фраз, но дальше этого дело не пошло.

Ребенка удалось научить только одному русскому слову. Это было слово «дай!». Он овладел им в совершенстве.

— Может быть, поехать с ним в Неаполь? — спрашивал себя Парфенов, слыша, как Павлик напевает неаполитанские песни. И тут же отвергал эту возможность по многим причинам.

Между тем Павлик приближался к школьному возрасту. Он попросил через переводчика купить ему слаломные лыжи и требовал гор. Он также дал понять, что готов отзываться только на имя Паоло.

— Настоящий итальянец! — шептала Парфенова-мама со смешанным чувством ужаса и уважения.

В первый класс Павлика повел студент-переводчик. Парфенов дал ему выпить для храбрости коньяку. Студент вернулся из школы очень возбужденный, молча допил коньяк с Парфеновым и взял расчет.

— Вы не представляете, что там творится! — сказал он на прощанье.

В конце первого полугодия Парфенов рискнул впервые зайти в школу. Он шел, сгорая от стыда, хотя никакой его вины в итальянском произношении сына не было.

— Очень хорошо, что вы наконец пришли, — ска-

зала учительница. — Павлик немного разболтан, на уроках много разговаривает. Надо провести с ним беседу.

— Разговаривает. . . Беседу. . . — растерянно повторил Парфенов. — Но на каком же языке?!

— Ах, вот вы о чем! . . — улыбнулась учительница.

И она объяснила, что Павлик — отнюдь не исключение. Весь класс говорит на иностранных языках, причем на разных.

— Ваш Павлик среди благополучных. Послушали бы вы Юру Солдаткина! У него родной язык суахили, причем местный диалект, иногда очень трудно понять! . . А итальянский — это для нас почти подарок.

Тут в класс, где они разговаривали, вбежала растрепанная малышка, и учительница крикнула ей:

— Голубева, цурюк!

Девочка что-то пролепетала по-немецки и упорхнула.

Парфенов был подавлен.

— Ничего, ничего. . . — успокаивала его учительница. — К десятому многие из них овладевают и русским. . .

Больше Парфеновы в школу не ходили. Они только читали на полях дневника сына записи учителей, сделанные, специально для родителей, по-русски и почему-то печатными буквами: «У Павлика грязные ногти», «Павлику нужно купить набор акварельных красок» и так далее.

Парфенова-мама послушно выполняла указания, благо они не требовали знания языка.

Годы шли в устойчивом обоюдном непонимании. К Паоло заходили приятели, которые оживленно болтали на разных языках, и тогда квартира Парфеновых напоминала коротковолновую шкалу радиоприемника. К шестому классу Павлик изъяснялся на шести языках, к десятому — на десяти. Родителей он по-прежнему не понимал.

В десятом к Павлику стала ходить девушка-одноклассница. Ее звали Джейн, родным ее языком был английский. Парфеновы догадались, что в семье девочку звали Женей. Павлик и Джейн уединялись в комнате при свечах и что-то шептали друг другу по фран-

цузски. Это был язык их общения. Впрочем, Джейн знала немного по-русски и ей случалось быть переводчицей между Павликом и Парфеновыми.

А потом Джейн поселилась у Павлика. Парфеновы тщательно пытались выяснить, расписались они или нет, но слово «ЗАГС» вызвало у Джейн лишь изумленное поднятие бровей. Впрочем, бровей у нее уже не было, а имелись две тоненькие полосочки на тех же местах, исполненные тушью.

Парфеновы уже не пытались преодолевать языковой барьер, стараясь только переносить сосуществование в духе разрядки. Они объяснялись с молодыми на интернациональном языке жестов.

Когда Джейн сменила джинсы на скромное платье, а Павлик впервые в жизни принес в дом килограмм апельсинов, Парфеновы поняли, что у них скоро будет внук.

— Вот увидишь, негритенка родит! — сказал Парфенов жене.

— Но почему же негритенка! — испугалась она.

— От них всего можно ожидать!

Но родился мальчик, очень похожий на Парфенова-деда. Через некоторое время Парфеновым удалось установить, что внука назвали Мишелем. Джейн снова вошла в форму, натянула джинсы и бегала с коляской в молочную кухню, поскольку своего молока не имела. Еще она часами тархтела по телефону с подружкой-шведкой, у которой была шестимесячная Брунгильда. Обычно после таких разговоров она занималась экспериментами над Мишелем — ставила ему пластинки Вивальди или обтирала снегом. Однажды, после очередного воспаления легких у ребенка, Парфеновы слышали, как Павлик впервые обругал Джейн по-русски, хотя и с сильным акцентом.

И вот в один прекрасный день Мишель сказал первое слово. Это было слово «интеллект». Несколько дней Парфеновы-старшие гадали, на каком языке начал говорить внук. А потом Мишель сказал сразу два слова. И эти слова не оставили никакого сомнения. Мишель сказал: «Дай каши!»

Парфеновы-старшие и Парфеновы-младшие стояли в этот момент у кровати по обеим сторонам языкового

барьера. Пока Павлик и Джейн недоуменно переглядывались, обмениваясь тревожными французскими междометиями, Парфенов-дед вырвал внука из кровати, прижал его к груди и торжествующе закричал:

— Наш, подлец, никому не отдам! Каши хочет, слышали?!

— Дайкаши маймацу, — четко сказал Мишель.

— Джапан. . . — растерянно проговорила Джейн.  
— Я-по-нец. . . — перевела она по слогам для родителей.

— Так вам и надо! — взревел дед, швыряя японского Мишеля обратно в кроватку, отчего тот заревел самыми настоящими слезами, какие бывают и у японских, и у русских, и у итальянских детей.

. . .И вот, рассказав эту историю, я думаю: Господи, когда же мы научимся понимать друг друга?! Когда же мы своих детей научимся понимать?! Когда они научатся понимать нас?!

## ГЕЙША

Питонов закрыл глаза и сидел так с минуту, отдыхая. А когда раскрыл их, то увидел новую посетительницу. Она была в длинных белых одеждах.

«Фу ты, черт! Накрасилась-то как!» — неприятно подумал Питонов.

— Специальность? — строго спросил он.

— Гейша, — сказала женщина.

Питонов прикоснулся пальцами к векам и почувствовал, какие они горячие. Он опустил руки, перед глазами поплыли фиолетовые круги. В фиолетовых кругах, как в цветном телевизоре, сидела женщина и смотрела на Питонова.

— Как вы сказали? — осторожно спросил он, мигая, чтобы круги исчезли.

— Гейша.

— А что вы. . . э-э. . . умеете делать?

— Я гейша, — в третий раз повторила женщина. Она, видимо, считала ответ исчерпывающим.

— Хорошо, — сказал Питонов. — Хорошо. . .

Он посмотрел в окно. Там все было на месте. Питонов потянулся к звонку, чтобы вызвать секретаршу, но ему стало стыдно. Он сделал вид, что передвигает пепельницу.

— Курите. . . — зачем-то сказал он и с ужасом почувствовал, что краснеет. Это было так непривычно, что Питонов на мгновение растерялся.

Женщина закурила, помогая Питонову справиться с волнением. Он снял телефонную трубку и решительно подул в нее.

— Шестой участок? Вызовите Долгушина. . .

Питонов взял карандаш и принялся чертить восьмерки на календаре. Спокойствие вернулось к нему.



— Долгушин? Слушай, Долгушин, тебе люди нужны? Тут у меня... гражданка... Нет, не станочница. И не подсобница... Кто! Кто! Гейша! — выдохнул Питонов и подмигнул гейше. — Ты мне, Долгушин, прекрати выражаться! Я тебя спрашиваю: тебе гейши нужны? Нет, так нет, и нечего языком трепать!

Питонов повесил трубку и виновато взглянул на гейшу.

— Конец рабочего дня. Все нервные какие-то... Знаете что? Зайдите завтра, что-нибудь придумаем.

Когда гейша ушла, Питонов подошел к окну и внимательно посмотрел на свое отражение в стекле. «Старею», — подумал он, трогая виски.

Он выключил свет и пошел домой.

На Садовой что-то строили. Питонов шел под дощатым козырьком вдоль забора, на ходу читая приклеенные к забору объявления.

«ТРЕБУЮТСЯ ГЕЙШИ», — прочитал он и остановился. Гейши требовались УНР-48. Объявление было напечатано на машинке. Был указан телефон. Питонов на всякий случай записал его в книжку и пошел дальше.

«ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ГЕЙШИ». Этот плакат, выполненный краской на фанерном листе, Питонов заметил на трамвайной остановке. Он улыбнулся ему, как доброму знакомому. И уже в трамвае, развернув «Вечерку», прочитал, что «тресту „Североникель“ требуются дипломированные гейши с окладом 120 руб.».

«Дурак Долгушин», — подумал Питонов, пряча газету в карман.

Дома Питонов долго ходил по комнате, насвистывая «Марсельезу». Потом он пошел к соседу за словарем иностранных слов. Объяснение слова показалось ему обидным, и он посмотрел год издания словаря. Словарь был издан десять лет назад.

— Ну, это мы еще посмотрим! Это мы еще поглядим! — весело сказал Питонов словарю и отнес его обратно.

На следующее утро Питонов пришел на работу в выходном костюме. Он распорядился, чтобы у про-

ходной повесили объявление о гейшах, а в кабинет поставили цветы.

Но гейша не пришла.

Еще через день Питонов дал объявление в «Вечерку». Гейши не было.

Через неделю он снова позвонил Долгушину.

— Ну что? Так и работаешь без гейши? — спросил Питонов. — Эх, Долгушин, Долгушин! Отстаешь от времени. От времени, говорю, отстаешь. Вот что, Долгушин, кто у вас там есть пошустрей? Коноплянникова Мария? Готовь приказ. Временно назначим ее исполняющей обязанности гейши. Я подпишу. . . Почему сдельно? Удивляюсь я тебе, Долгушин. Ты что, газет не читаешь? Поставим ее на оклад. Все у меня.

Осенью, просматривая записную книжку, Питонов наткнулся на телефон УНР-48. Под ним было написано «ГЕЙША» и подчеркнуто двойной чертой. Что-то шевельнулось в душе Питонова. Он посмотрел на голубую стену кабинета, на фоне которой когда-то впервые увидел гейшу, и позвонил в УНР.

Ему сказали, что новая гейша с работой справляется хорошо.

«Какую гейшу прохлопали! — подумал Питонов и вычеркнул номер из книжки. — Надо переводить Коноплянникову Марию на постоянную должность. . . Надо переводить».

И он устало закрыл глаза.

1972

## БАЛЕРИНА

В обеденный перерыв Савельев выскочил из проходной выпить пива. Он занял очередь, но тут мимо прошла балерина, задев его крахмальной пачкой. Никто не обратил на нее особого внимания, только продавщица в своей будке неодобрительно сказала:

— Задницу даже не прикрыла! Срамота одна!

Но Савельев этого не слышал, потому что уже отделился от очереди и поплыл за балериной, как воздушный шарик на ниточке. Он забыл о пиве и о том, что обеденный перерыв кончается.

Она шла по тротуару, как часики на рубиновых камнях: тик-так, тик-так. Дело было в июле, и за ней оставались следы. Следы были небольшие, глубоко отпечатанные в горячем асфальте. Это были следы ее пуантов.

Они выглядели как отпечатки маленьких копыт какого-то симпатичного животного.

Савельев попробовал было тоже идти за ней на пуантах, ступая след в след, но чуть не сломал палец на ноге. Тогда он отбросил эту мысль, тем более что мужчина в комбинезоне, шагающий на пуантах, вызывает вполне естественное недоверие.

В глубоком детстве родители учили Савельева игре на домре, но он стал слесарем.

Он шел за ней на расстоянии десяти метров и смотрел на ножки. И вот что странно: в голове у Савельева не рождалось ни одной неприличной мысли. Он испытывал восторг, и только. Это свидетельствует о нем положительно.

Они вышли на набережную. Балерина вспрыгнула на парапет и пошла по нему, слегка балансируя рукой с отставленным мизинчиком. Савельев на ходу попро-

бовал, как это делается — отставить мизинчик. У него ничего не получилось, потому что мизинец был заскорузлым, навеки приученным к держанию слесарного инструмента. На парাপет Савельев вспрыгивать не стал.

Так они дошли до Марсова поля. И тут Савельев заметил, что с Кировского моста спускается марширующая колонна людей в черных фраках. Впереди шел старик с надменным лицом. У него в руке была палочка, а люди в колонне имели при себе музыкальные инструменты, на которых играли.

Они играли что-то знакомое даже Савельеву.

Балерина замерла на парапете, стоя на одной ножке. Другую она держала на весу перед собой, как бы подавая ее для поцелуя. Савельев приблизился к висящей в воздухе ножке и, встав на цыпочки, поцеловал ее в пятку. Балерина скосила глаза и шепотом сказала:

— Мерси!

И легонько, концом носочка, щелкнула Савельева по носу. Оркестр продолжал свое движение, огибая памятник Суворову. Позади оркестра пожилой человек катил перед собою огромный барабан, успевая изредка ударять по нему палкой с мягким набалдашником. Общая картина была чрезвычайно красивой.

Савельев постарался придать своему телу возвышенное положение. Балерина взмахнула руками и тоже сменила позу. При этом она успела сказать Савельеву:

— Слушай музыку.

У Савельева было такое чувство, что он перерождается. Он где-то читал, что такое бывает с людьми.

Но он не успел ничего сказать балерине, потому что она уже крутилась на парапете, как волчок, непрерывно отбрасывая ногу в сторону. Это была нога, которую поцеловал Савельев.

— Да постой же ты! — ошеломленно сказал он, чувствуя, что восхищение и восторг заполняют его до кончиков волос.

Однако в этот момент из-за памятника Суворову кошачьей походкой вышел мужчина в черном, до пят, плаще. Оркестр уже обогнул памятник и остановился

на широкой аллее Марсова поля, ведущей к Вечному огню. Там они продолжали играть, теперь уже что-то тревожное, отчего Савельев насторожился.

Милиционер остановил движение, и мужчина в плаще стал, крадучись и замирая, приближаться к балерине. Она сделала движение руками, которое Савельев сразу понял. Оно означало отчаянье и страх. Мужчина в плаще замер на проезжей части, готовясь к прыжку. Савельев подобрался и сделал шаг вперед.

Соперник, видимо, немного испугался Савельева, потому что вопросительно оглянулся на милиционера. Раздался глухой удар барабана, и милиционер подпрыгнул, сделав в воздухе быстрое движение ногами. Савельев вдруг почувствовал, что его руки изобразили над головой гордое и вызывающее колесо, и он двинулся на соперника, твердо ступая с носка. Носок неудобно было тянуть, потому что Савельев был в лыжных ботинках, но он старался.

Балерина прыгнула с паркета, зависнув на мгновение в воздухе, и побежала, мелко семеня и отставив руки назад, за Савельевым. Она обогнала его и остановилась между ним и соперником, уперев одну руку в бок, а другою указывая в небо. Человек в плаще отшатнулся и заслонил лицо руками. Слева большими плавными прыжками приближался милиционер. Савельев положил ладони на талию балерины. Она тут же начала вращаться, как шпиндель, так что ладоням сделалось тепло.

Справа трагически замерла очередь за апельсинами.

— Я человек простой, — сказал Савельев, вкладывая в слова душу.

— Двадцать три, двадцать четыре. . . — шептала она.

Человек в черном скакнул к ним и изобразил хищную птицу. Это у него получилось очень похоже. Милиционер продолжал приближаться, но делал это не по прямой, а по дуге.

— Ап! — сказала балерина, и Савельев трижды обвел ее вокруг хищника, держа за пальчик. Потом она взмахнула ножкой и полетела к сопернику, который ловко поймал ее и склонился над ней то ли с мольбой,

то ли с угрозой. Савельев не успел понять. Он уже был в воздухе, выполняя прыжок, который в фигурном катании называется «двойной лутц».

— Где ты учился, фуфло немывтое? — зловеще прошептал соперник, когда Савельев приземлился.

— В ПТУ, а что? — сказал Савельев.

Очередь, жонглируя апельсинами, пробежала сквозь них и обратно. Это было потрясающе красиво, потому что милиционер в это время успел открыть движение, а оркестр, повернувшись через левое плечо, зашагал к Вечному огню.

«Похоже на конец первого акта», — подумал Савельев.

Балерина лежала на клумбе под памятником Суворову, среди роз, вытянув руки к оттянутому носочку ступни. Она тяжело дышала. Первый акт тяжело дался всем троим. Соперник в черном закурил, глядя на балерину с неприязнью. Савельев по инерции подбежал к балерине легкими грациозными прыжками и протянул левую руку, подняв правую над головой. Комбинезон мешал двигаться изящно, но Савельев старался.

Балерина, склонившись к белой ноге, стирала пятнышко грязи с колготок, слюнявя палец.

Раздался звонок трамвая. Начинался второй акт. Соперник скинул плащ, под которым неожиданно оказался карабин. Это озадачило Савельева, не готового к такому повороту событий. С моста бежали еще трое в черных масках, стреляя на ходу из револьверов.

Одним прыжком Савельев вскочил в проносившееся мимо авто. Балерину он подхватил под мышки. Ее безжизненное тело продолжало сопротивляться движению. Те трое залегли за столбами, а соперник, пригнувшись, побежал к розам. Милиционер уже мчался на мотоцикле, передавая что-то по рации.

«Вот тебе и балет!» — успел подумать Савельев, отстреливаясь.

Балерина лежала на заднем сиденье, напоминая скомканную тюлевую занавеску.

Бандиты бежали за авто по брусчатке, выдергивая из карманов гранаты. Шофер был уже ранен. Савельев одной рукой перевязывал шофера, другой успокаивал балерину, а зубами выдергивал кольцо у «лимонки».

Они неслись по набережной, и голуби вырывались из-под колес взрывообразно. Савельев хладнокровно расстреливал преследователей. Ему спокойно помогал милиционер, мчавшийся рядом. Правил движения никто не нарушал.

Соперник в черном плаще, а теперь без него, юркнул под мост и там отравился. Савельев не успел передохнуть, как авто, резко затормозив, встало у ларька. Савельев выскочил из машины. Во рту пересохло, раны еще горели.

— Две больших... Буду повторять... — задыхаясь, сказал он, потому что как раз подошла его очередь.

И пока наполнялась кружка и росла над нею кружевная нашлепка пены, похожая на пачку балерины, Савельев посмотрел на часы, успев оценить расстояние до проходной и время, оставшееся до конца обеденного перерыва.

Времени было в обрез, но как раз столько, чтобы успеть выпить две кружки и вбежать в проходную легким, балетным шагом, держа свою балерину над головой.

## ТИКЛИ

В канун Нового года выяснилось, что главная проблема современности — тикли. Эту новость принес в лабораторию аспирант по кличке Шатун. Он был хромой и бородатый. Из бороды у него вечно торчали запутавшиеся формулы, которые он выщипывал грязными ногтями и скатывал в шарики.

Шатун сел на магнит, положил короткую ногу на длинную и изрек:

— Вот вы тут сидите, а между прочим, тикли — это вещь!

Шатун всегда бредит вслух при посторонних, поэтому на его слова никто не обратил внимания. Все продолжали исследовать пространство — каждый свое, и никому не было дела до тикли.

— Тикли! — сказал Шатун. — Дегенераты!

И он вылил на пол три литра жидкого азота из сосуда Дьюара. Азот зашипел, лихорадочно испаряясь, и скрыл аспиранта в белом дыму. Когда дым рассеялся, Шатуна в лаборатории не было. На месте, где он сидел, валялась буква греческого алфавита, похожая на пенсне.

— Не верю я в эту тикли, — проворчал Суриков-старший.

Я взглянул на него и увидел, что тикли лежит у него на макушке, свернувшись змейкой. Оно было янтарного цвета, почти газообразное. Суриков-старший оттолкнулся от стола и сделал два оборота на своем винтовом табурете. Тикли взмыло вверх, изображая над Суриковым нимб, а потом упало на пол и поползло к окну, как гусеница.

— Надо проверить в литературе, — сказал Михаилус.



Он прошелся по лаборатории, едва не наступив на тикли. Затем Михаилус снял с полки журнал «Physical Revue», положил под гидравлический пресс и стал сжимать. Журнал противно заскрипел и превратился в тонкий листок. Михаилус вынул его, взглянул на просвет.

— Шатун прав, — безразлично сказал он, пуская листок по рукам.

Когда листок дошел до меня, я увидел, что на нем написано по-английски одно слово — «тикли». Михаилус уже одевался с озабоченным видом. Уходя, он сунул в карман пальто букву, оставленную Шатуном, надеясь, что этого никто не заметит. Тикли в это время ползло по оконному стеклу вверх к форточке. Я встал и распахнул форточку, чтобы оказать тикли мелкую услугу. Тикли посмотрело на меня зеленоватым глазом, доползло до форточки и улетело.

— Подумаешь, тикли! — сказал Суриков-старший. — У меня своих забот хватает.

На следующий день Михаилус уже всю исследовал тикли. Суриков-старший весь день ныл, что у него жена, кооперативная квартира и двое детей, поэтому он не может тратить время на тикли. Тем не менее поминутно заглядывал через плечо Михаилуса, стараясь ухватить ход вычислений. Михаилус писал, пока не кончилась бумага. На последней листке он написал докладную директору, жалуясь на нехватку бумаги для исследования проблемы тикли.

До обеда тикли опять залетало к нам. На этот раз оно было похоже на одуванчик без ножки — белое круглое облачко, в центре которого находился все тот же зеленоватый глаз. Тикли повисло над выкладками Михаилуса, водя глазом из стороны в сторону и, по всей вероятности, проверяя правильность расчетов. Жаль, что оно лишено было мимики. Я так и не понял, верно ли рассуждал Михаилус на своих листках.

Повисев над Михаилусом, тикли улетело вон, точно шаровая молния.

— И все-таки тикли есть, — сказал Михаилус тоном Галилея.

— Конечно, есть. Что за вопрос? — пожал я плечами.

— Дилетант! — сказал Михаилус.

Я обиделся и ушел на свидание с любимой девушкой. Мы встретились, как всегда, на карусели, в парке культуры. Карусель не работала, потому что механизм замерз от холода. Зато на пальто моей девушки была приколата брошка, которую я сразу узнал. Это была тикли. Тут я понял, что по вечерам тикли становилось женского рода. На карусели было холодно. Наше кресло, скрипя, покачивалось на железных прутьях. Длинные тени убегали по снегу в глубь парка.

— Откуда у тебя тикли? — спросил я. — Как тебя зовут?

Она заплакала и ушла, а тикли осталась висеть в воздухе, как снежинка. Разговаривать с тикли я не решился, потому что не был уверен, поймет ли она меня.

На следующее утро, в последний рабочий день перед Новым годом, тикли встретило меня на моем столе. Оно выглядело усталым и озабоченным. В тот день оно было гладким и твердым, как мрамор. Зеленоватый глаз старался не смотреть на меня.

Снова пришел Шатун, настроенный агрессивно. С его свитера сыпались на пол какие-то цифры, точно перхоть. Шатун размахивал газетой.

— Статью читали, олухи? — закричал он.

Суриков первый бросился к Шатуну, почуяв неладное. Он выхватил газету, которая уже была изрядно замусолена и согнута так, чтобы статью сразу можно было найти.

— «Тикли и гуманизм», — прочел Суриков заголовков. — Читать дальше? — спросил он.

— Мура, наверное, — предположил Михаилус. — Что они могут смыслить в тикли?

— «Сегодня, когда передовые ученые всех стран...» — начал Суриков, но Михаилус перебил: — Суть, суть читай!

Суриков заскользил глазами по строчкам, отыскивая суть. Шатун не выдержал, выхватил у него газету.

— «Аморфный гуманизм тикли не имеет ничего общего с классической и даже с квантовой механикой...» — прочитал Шатун, размахивая указательным пальцем.

Он задел им тикли, и оно рассыпалось на мелкие блестящие пылинки, которые изобразили в воздухе ленту Мебиуса и печально поплыли по направлению к форточке.

— Ну конечно! — сказал Суриков. — Еще неизвестно, есть тикли или нет, а под нее уже подводят базу. . .

— Под него, — сказал я. — Утром оно среднего рода.

На меня посмотрели чуть внимательнее, чем обычно.

— Тикли есть. Я это вчера доказал, — заявил Михаилус.

— Можешь пронаблюдать? — издевательски спросил Шатун.

— Нужен прибор. Но это уже не мое дело, — развел руками Михаилус.

Тикли бросилось в стекло, точно бабочка. Я подошел к окну и распахнул его настежь.

— Ты что, с ума сошел?! — закричали коллеги.

— Посмотрите, как улетает тикли, — сказал я.

— Чокнутый — факт, — сказал Шатун.

Тикли вытянулось в длинную ленту и полетело по направлению к парку культуры. Две синички пристроились к нему и сопровождали, пока тикли не скрылось из глаз. Суриков-старший закрыл окно и постучал себя по лбу логарифмической линейкой. Этот жест он адресовал мне. И все стали стучать по лбу логарифмическими линейками. Последним это сделал вахтер, когда я уходил домой. Неизвестно, где он ее взял.

Ночью наступил Новый год. Моя любимая девушка не пришла, потому что я так и не вспомнил, как ее зовут. Я сидел один перед телевизором и чокался шампанским с экраном. На третьем тосте экран разбился, вспыхнув ослепительным светом, и Новый год прошел мимо по соседней улице.

— Тикли! — позвал я.

Тикли высунулась из стеклянной дымящейся дыры, где только что танцевала Майя Плисецкая. На тикли было короткое вечернее платье, а ее зеленоватый глаз смотрел на меня простодушно и доверчиво, как новорожденный слоненок.

— Тикли, посиди со мной, — попросил я. — Ты меня понимаешь?

Она написала чем-то на стене: «Я тебя понимаю».

— Скоро они научатся тебя наблюдать, — сказал я.

«Пусть попробуют!» — храбро написала тикли.

— Тикли, дай я тебя поцелую! — обрадовался я. — Ты молодец, тикли!

«Ты тоже молодец, — написала она. — Целоваться не надо».

Я налил ей шампанского, и тикли отхлебнула глоточек. Видимо, она делала это впервые, потому что ее глаз сразу заблестел, и тикли стала летать по комнате быстро и бесшумно, оставив свое вечернее платье на диване.

— А кто еще умеет тебя видеть? — спросил я осторожно.

«Никто, — написала тикли. — Только ты! Ты! Ты!»

— Это значит, что я умнее Михаилуса? — спросил я.

«Ух, какой ты глупый!» — радостно написала тикли.

Она почти вся истратилась на последнюю надпись, которая осталась гореть на стене зеленоватым светом. От тикли остался небольшой кусочек, вроде драгоценного камня, и я сказал:

— Тикли, ты больше со мной не разговаривай. Давай помолчим. . .

Потом я протянул к ней ладонь, и тикли опустилась на нее, как светлячок. Я осторожно зажал ее в кулак, и мы уснули вместе.

В новом году я больше не видел тикли. Его никто больше не видел, даже Шатун, который сконструировал прибор и хвастался, что появилась принципиальная возможность наблюдать тикли. Но я не очень горюю, потому что тикли в ту новогоднюю ночь, которую она провела в моем кулаке, успела многое изменить. Она прочертила на ладони несколько новых линий судьбы, а старые подрисовала так, что вся моя жизнь пошла по-иному. Мне кажется, что в этом неоспоримое доказательство существования тикли.

## УРОК МУЖЕСТВА

Объявления, передаваемые по радио, иногда привлекают своей загадочностью. Недавно я услышал такое: «Музей Суворова приглашает на уроки мужества. Справки по телефону. . .»

С мужеством у меня всегда обстояло туговато. Временами я испытывал острый его дефицит и готов был обменять изрядную долю ироничности или обаяния на маленький кусочек мужества. Поэтому я подумал, что было бы совсем недурно получить предлагаемый урок в музее Суворова.

Музей Суворова, который находится против Таврического сада, по посещаемости уступает всем известным мне музеям. В среднем в его залы приходит не более полутора человек в день. В тот день, когда я пришел туда, тихая половинка статистического человека уже удалилась, и я был в музее один.

У дверей, инкрустированных перламутром, на бархатном стуле спала старушка, похожая на графиню. Над нею висел двуглавый орел, который тоже спал обеими головами. Я потоптался перед графией и робко кашлянул. Старушка интеллигентно вздрогнула во сне, но не проснулась. Орел же открыл один из четырех глаз, который оказался мутноватым и пьяным.

— Я насчет урока мужества, — обратился я к орлу.

Орел поцокал кривыми клювами, и графиня проснулась. Я повторил свои слова. Графиня удивленно воззрилась на меня, потом поднялась со стула, обнаружив на нем бледно-зеленую круглую потертость, и почти испуганно спросила:

— А какой нынче год, не скажете?

— Говорят, год Дракона, — ответил я.

— Дракона. . . — задумчиво повторила она. — А по номеру, по номеру не припомните?

Я назвал порядковый номер года.

— От Рождества Христова? — уточнила старушка.

Я подтвердил, что да, от Рождества Христова.

Графиня возвела глаза к орлу, пошевелила губами, что-то высчитывая, а затем объявила:

— Пора в отпуск.

— Дайте мне урок мужества, а потом уходите в отпуск, — попросил я.

— Да-да, непременно! Это уж непременно! — оживилась графиня и скрылась за перламутровыми дверями.

Через минуту там слышались легкие и мягкие шаги, обе створки двери распахнулись, и передо мною предстал маленький человек в напудренном парике, в длинном камзоле и при шпаге. С первого взгляда я узнал в нем Суворова. Это несколько ошеломило меня, и я отступил на шаг.

— Добро пожаловать, милостивый государь! — быстро проговорил Суворов, глядя на меня снизу вверх абсолютно умными глазами.

От волнения я забыл, как его зовут. Помнил, что Генералиссимус, но отчество совершенно выпало. Генералиссимус Алексеевич? Генералиссимус Ильич? . .

— Здравствуйте, Генералиссимус. . . — сказал я.

— О! — протестуя воскликнул Суворов, поднимая тонкие ладони. — Мы с вами не на плацу. Можете запросто — Александр Васильевич.

«Тезка, — почему-то подумал я. — Мы с Суворовым тезки».

Я последовал за ним через зал, вспоминая все, что читал когда-то или слышал о Суворове. «Переход через Альпы» — так! «Тяжело в ученье . . . легко в бою» — есть! «Плох тот солдат, который. . .» Дальнейшее сомнительно.

Мимо нас проскользнула графиня, нагруженная хозяйственной сумкой.

— Александр Васильевич, миленький, я в отпуск ухожу, в отпуск, может, и не свидимся больше. Вы бессмертный, вам-то что, а мне уж помирать пора, — про-

тараторила она на ходу, на что Суворов довольно резко ответил:

— Чушь, любезная, чушь! — и добавил что-то по-французски.

Графиня разразилась французской тирадой, покраснела, сделала книксен и упорхнула.

Мы прошли еще один зал, где висели пыльные знамена. При виде их Суворов поморщился.

Распахнулась дверь, обнаруживая кабинет с бархатными креслами и резным бюро темного дерева. На бюро стоял зеленый телефонный аппарат. Суворов отстегнул шпагу, стянул парик и сложил то и другое на бюро.

— Я полагал, что опять пионеры, — объяснил он. — Пионеров мне положено встречать при шпаге. У нас хозрасчетная организация, — продолжил он, понизив голос, — так что приходится идти на мелкие ухищрения. Присаживайтесь. . .

Я сел в кресло. Суворов же в кресло не сел, а принялся рассказывать по кабинету в молчании. Я тоже молчал, считая всякие вопросы нелепыми.

— Вы не знаете случаев, где можно купить детские колготки? — вдруг спросил Суворов. — Понимаете, такие. . . шерстяные, тепленькие. На девочку пяти лет.

— А. . . А зачем вам?

— Ах, у меня тьма потомков в этом городе! — воскликнул Суворов. — И обо всех надо позаботиться. Как же — прапрапра. . . В общем, много прадедушка — Генералиссимус! Неудобно. . . А я с трудом ориентируюсь. Многое изменилось.

— Поручите адъютанту, — посоветовал я. Мне понравилось, что я столь находчиво вспомнил об адъютанте. Но Суворов помрачнел и взглянул на меня исподлобья.

— Мой последний адъютант, да будет вам известно, погиб при взятии Измаила. Редкого мужества был офицер, — сказал он и уселся в кресло напротив.

— Я спрошу у жены, — сказал я.

— Да-да, спросите, батенька, — снова потеплел Суворов. — Я заплачу.

Он порылся в кармане камзола и достал кожаный мешочек, туго набитый. Я подумал, что Суворов соби-

рается отсыпать мне несколько золотых монет, но он встряхнул мешочек, размял его пальцами и высыпал на ладонь горстку бурого порошка. Он поднес ладонь к лицу и энергично втянул носом воздух. Порошок исчез с ладони. Суворов откинулся на спинку кресла, страдальчески зажмурился и оглушительно чихнул.

В кабинет вяло влетел двуглавый орел с запиской в одном из клювов. Он сел на подлокотник кресла, в котором был Генералиссимус, и протянул ему записку. Суворов прочитал ее и кинул на бюро.

— Нет, решительно никакого покою! — вскричал он, вскочил на ноги, снова нацепил парик и шпагу и выбежал прочь из кабинета. Орел обреченно полетел за ним.

Вскоре за дверью послышались детские голоса и шарканье ног по паркету. Голос Суворова сказал:

— Встаньте полукругом, девочек вперед. Тишина!

— Малахов, прекрати безобразничать! — сказал женский голос.

— Вы пришли сюда, чтобы прослушать урок мужества, — сказал Суворов. — Так-с. . . Это похвально. Славные Отечества сыны, коих ордена и регалии покоятся на стендах, боевые знамена наши, оружие храбрых полков — все перед вами. Не было равного русскому солдату в стойкости, не было равного в терпении, не было и не будет равного по духу.

— Малахов! — вскричал тот же женский голос.

— И ты, Малахов, станешь солдатом, — продолжал Суворов, — чтобы с оружием в руках беречь Россию от врагов. Сколько тебе лет?

— Тринадцать, — послышался голос, по-видимому, Малахова.

— Я в твои годы уже командовал полком. Гренадеры! Орлы! Все как на подбор орлы. . . Так вот. Однажды приходит ко мне в штаб полковник Сабуров и говорит: «Александр Васильевич, австрияки шалят!..» Да-с.

— Александр Васильевич, у них по программе сейчас другое, — сказал женский голос. — Вы нам, пожалуйста, что-нибудь о традициях.

— Прошу в Рымникский зал, — сказал Суворов.



Шум переместился в глубь музея. Я приоткрыл дверь кабинета и выглянул. Сквозь распахнутые двери залов мне был виден Суворов перед пионерами. Он стоял, опираясь левой рукой на эфес шпаги. В правой была указка. Ею Генералиссимус водил по карте. Позади пионеров стояла высоченная женщина, скрестив руки на животе.

Я вернулся в кабинет и принялся изучать обстановку. На бюро, рядом с телефоном, лежала пачка квитанций и счетов. Среди них счет на междугородный разговор с Измаилом и квитанция химчистки. В квитанции значилось: «Камзол зеленый, поношен., ср. загрязн.» Лежал журнал «Огонек», раскрытый на последней странице с наполовину отгаданным кроссвордом. Я осторожно потянул на себя один из ящичков бюро. В нем в полнейшем беспорядке были навалены ордена, медали, часы, радиолампы, конденсаторы и сопротивления. В другом ящичке был ворох почтовых марок. Третий ящичек оказался закрытым.

Внезапно зазвонил телефон. Я отпрыгнул от бюро и снова упал в кресло. Телефон продолжал звонить. Тогда я, оглянувшись на дверь, подошел к аппарату и снял трубку.

— Александр Васильевич? — сказал мужской голос. — Рад вас приветствовать. Как здоровьице?

— Александр Васильевич вышел, — сказал я.

— А с кем я говорю, простите?

Я назвал свою фамилию и добавил, что я посетитель музея.

— Ах, вы из нынешних. . . — разочарованно протянул собеседник и сказал: — Передайте Александру Васильевичу, что звонил Михаил Васильевич. Он знает. Я ему перезвоню.

Я повесил трубку и вернулся на свое место. Через пять минут пришел Суворов. Он проделал ту же процедуру с париком и шпагой, но парик повесил на медную ручку ящичка бюро для просушки. Он взял гребень и, придерживая парик на ручке, расчесал букли. Пудра образовала легкое облачко. Белые волосы вытягивались под гребнем, и тут же сворачивались, будто на невидимых бигудях. Я вспомнил жену, как она утром кипятит бигуди в кастрюльке, чтобы там,

внутри, расплавился воск, поддерживающий бигуди в горячем состоянии, потом накручивает мокрые волосы, скрепляя их специальной резинкой, и в таком виде быстро пьет кофе, торопясь на работу.

Суворов задумчиво расчесывал парик. Казалось, он забыл обо мне.

— Вам звонил Михаил Васильевич, — сказал я.

— А-а. . . Ломоносов, — протянул Суворов, не оборачиваясь.

— Тот самый? — вырвалось у меня.

— А вы, батенька, знаете другого Ломоносова? — язвительно произнес Суворов, быстро поворачиваясь ко мне.

— Но ведь столько лет. . .

— Сколько — столько? Двести с небольшим лет. Вот ко мне недавно Аристотель заходил — тому не позавидуешь. Третье тысячелетие мается.

— Ну, и как он? . . . Что делает? — задал я нелепый вопрос.

— Я же сказал — мается. Между нами говоря, старик опустился. Но его можно понять. У него миллионов семнадцать прямых потомков только в России. Кстати, как вас зовут?

Я опять назвал свою фамилию, имя и отчество. Суворов выпятил нижнюю губу и задумался. Потом он решительно снял трубку и набрал номер.

— Петр Алексеевич? Добрый день, Суворов беспокоит. Простите, что оторвал от дел. . . Петр Алексеевич, тут у меня один молодой человек желает выяснить, по какой он линии. . .

— Да я не. . . — запротестовал я, но Суворов уже давал мои координаты.

— Нет, полного списка не нужно, но хотя бы трех-четырех предков. Желательно таких, которые ему известны. . . Ну да, вы же знаете их школьные программы, о чем тут можно говорить! . . . Да, благодарю покорно.

Суворов положил трубку и принялся насвистывать марш.

— А. . . — начал я.

— Царь Петр, — сказал Суворов.

— Первый?

Суворов сделал страдальческую мину, на минуту испортив мелодию марша.

— Первый, конечно же, первый! — воскликнул он.

Тут снова зазвонил телефон. Суворов поднес трубку к уху, потом достал листок бумаги и, прижимая трубку плечом, что-то нацарапал на листочке гусиным пером. При ближайшем рассмотрении гусиное перо оказалось искусственным. Это была шариковая ручка в виде гусиного пера.

Суворов еще раз покорнейше поблагодарил Петра Алексеевича и протянул листок мне.

— Вот, полюбопытствуйте! Уже готово. Царь Петр собрал неплохой архив. Генеалогические деревья вплоть до античного времени.

На листке было написано: «Прямые предки. Седьмое колено — Кюхельбекер Вильгельм. Двенадцатое колено — Сусанин Иван. Восемнадцатое колено — Колумб Христофор. Тридцать восьмое колено — Сулла Корнелий».

— Сулла? — пробормотал я. — Кто это такой?

— А Бог его знает! — беспечно воскликнул Суворов. — Римский диктатор, вероятно.

— Так много знаменитых предков? — прошептал я, испытывая, кроме замешательства, страшную гордость. Жаль было, конечно, что нет среди предков Пушкина, Александра Македонского или Иисуса Христа. Хотя у Христа, кажется, потомков быть не могло. . . Но все же! Колумб, елки зеленые! Сулла! Иван Сусанин, про которого опера!

— Ну, не так уж много, — сказал Суворов. — Недавно я видел молодую женщину, весьма заурядную, кстати, которая имела в своем дереве Тютчева, Сервантеса, Баха, Колумба, как и вы, Конфуция и фараона Эхнатона. Она считала, что Конфуций — древний грек.

— Значит, мы все родственники? — спросил я.

— Практически, — сказал Суворов.

В этот момент одновременно раздались телефонный звонок и стук в дверь. Суворов поднял трубку и крикнул по направлению к двери:

— Войдите!

В кабинет вошел неприятного вида мужчина в длин-

ном прорезиненном плаще. Он остановился у входа. А Суворов уже объяснял по телефону Ломоносову, что слово «Войдите!» никак не могло относиться к Михайле Васильевичу, потому как он, Суворов, еще не совсем выжил из ума и понимает, что по телефону не входят. При этом Александр Васильевич заразительно смеялся и делал приглашающие жесты мужчине в плаще. Однако тот упорно стоял в дверях.

Разговор с Ломоносовым касался пятнадцатипятиродного восемнадцативнучатого племянника великого ученого. Тот провалил экзамен в институт и теперь по закону должен был быть призван в армию. Судя по всему, Ломоносов просил Генералиссимуса позвонить в военкомат и попросить, чтобы племянничка призывали куда-нибудь поближе к Ленинграду.

Суворов обещал помочь несмотря на свою многолетнюю отставку.

Он закончил разговор и почти бегом бросился к посетителю. Тот, ни слова не говоря, распахнул полы плаща и стал похож на кондора. Подкладка плаща имела замечательное устройство. Вся она была в петельках, в которые продеты были радиолампы, транзисторы, сопротивления и другие радиодетали. Над каждым вшита была этикеточка с маркой изделия.

Суворов стал читать подкладку плаща, как детективный роман. Потом он точным движением извлек из петельки транзистор и показал его мужчине.

— Владимира первой, — сказал посетитель.

— Грабеж, батенька! — закричал Суворов, но транзистора не отдал.

— Александр Васильевич! — укоризненно произнес мужчина. — Это же японский транзистор!

— Помилуй Бог, согласен! — сказал Суворов, подошел к ящичку бюро, вынул оттуда орден и отдал посетителю. Мужчина окинул орден быстрым оценивающим взглядом, сунул в карман и бесшумно удалился.

— Вот жук! — в сердцах сказал Суворов. — И ведь наверняка ворует. Владимира первой степени!.. Да государыня, бывало... Эх!

Потом Александр Васильевич объяснил, что один из его прямых потомков, сохранивший даже фами-

лию, — некий Кирюша Суворов — учится в седьмом классе и обнаруживает замечательные успехи в точных науках. Генералиссимус доставал ему радиодетали для технических поделок, выменивая детали на ордена.

— Как знать, может быть, тоже станет бессмертным! — мечтательно и гордо произнес Александр Васильевич. — Не все же Суворовым «ура» кричать.

Мне давно пора было уходить, потому что урок мужества я прослушал, правда издалека, а Суворов находился в непрестанной деятельности, и я ему, по-видимому, мешал. Однако я продолжал сидеть в кресле, наблюдая. Суворов изредка перебрасывался со мною фразами, но в основном занимался делами.

Пришел маляр, с которым Александр Васильевич затеял долгий сюрреалистический разговор о покраске подоконников в музее. Маляр мялся, желая стробовать с Суворова что-то такое, чему не знал названия. Суворов показывал ему табакерки, перстни, шкатулочки, часы, аксельбанты, но маляр уклончиво улыбался. Сошлись на элементарных десяти рублях.

Звонили из Совета ветеранов, из ЖЭКа, из Москвы. Звонил Кутузов, звал на день рождения. Ленфильм приглашал на съемки.

Суворов, в очках, энергичный, со своим знаменитым хохолком, сидел за бюро, делал записи в календаре, ругался по телефону, успевая решать кроссворд.

— Басня Крылова из семи букв... Позвонить, что ли, Ивану Андреевичу? Неудобно. Подумает, что не читал. А, батенька? — обращался он ко мне.

— Квартет, — предлагал я.

Суворов радовался, как ребенок, потом вписывал слово, находя еще повод для радости: он, видите ли, полагал, что в слове «квартет» восемь букв, учитывая твердый знак. Привычка, знаете ли... .

Я сидел и размышлял. Процесс жизни великого человека складывался на моих глазах из такой откровенной ерунды, что становилось обидно. Двести лет — и конца-краю не видно!

— Не так просто быть бессмертным, — подтвердил Суворов мои мысли.

Оказывается, он умел их читать!

— А вы думали, что достаточно в нужный момент

помахать шпагой, дать кому-нибудь по уху или выиграть кампанию, чтобы считаться мужественным? — обратился ко мне Суворов. — Не-ет, батенька! — торжествуяще пропел он, подмигивая мне.

Я ушел из музея вечером. Маляр красил подоконники, важно окуная кисть в ведро с белилами. Маляр был потомком Галилео Галилея.

Я шел по улицам, заглядывая в вечерние витрины магазинов. В бакалейных и винных отделах толпились потомки Цицерона и Горация. Навстречу мне шли наследники Державина, Рафаэля и Марка Антония. Немыслимо далекий потомок Цезаря сидел в милицеевской будке, регулируя движение. Все мы были родственниками, но вели себя странно, будто мы не знаем друг друга. Никто не раскланивался со мною, даже мои братья, внуки Христофора Колумба.

Жизнь складывалась из ерунды, но в толпе попадались бессмертные.

Мне встретился небритый Кюхельбекер с авоськой, где болталась одинокая бутылка кефира. Он сел в троллейбус и уже оттуда, когда троллейбус отошел, обернулся, пристально посмотрел на меня сквозь стекло и еле заметно кивнул.

## ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Ничего не изменилось в моей жизни, когда упала Эйфелева башня.

По правде говоря, эту махину давно следовало разрезать автогеном на части и тихонько свезти на один из коралловых островов Тихого океана. Там она пролежала бы еще сто лет, постепенно покрываясь хрупкими бесцветными ракушками, похожими на меренги, и ржавея в идеальных условиях.

Но теперь она упала в Париже, самом любимом городе на земле, и лежала поперек какого-нибудь бульвара Сен-Жермен. Я никогда не бывал в Париже, поэтому, я думаю, мне можно верить.

Когда она вышла из подъезда и пошла вдоль улицы, как самостоятельное привидение в белом плаще фабрики «Большевичка», я наблюдал за нею с балкона. Между нами было расстояние метров в пятьдесят. Оно увеличивалось с каждой секундой, и тут верхушка башни вздрогнула и качнулась влево, будто от ветра, налетевшего внезапным порывом. Это был ветер моих мыслей.

В Париже, говорят, в определенное время года цветут каштаны. Влюбленные целуются там прямо на улице, не обращая внимания на ГАИ, а китайские императоры сыпят им на головы сухие иероглифы, точно опускают в кипяток короткие черные чайники, отчего воздух вокруг приобретает коричневый оттенок. У нас влюбленные целуются в кинотеатрах, подъездах и кооперативных квартирах, когда хозяев нет дома. Я смотрел как она удаляется, похожая уже на персонаж мультфильма, со сложенными на спине крыльями плаща, и думал, что наша встреча, вероятно, последняя в нынешней геологической эпохе.

Жаль, что я не обратил внимания в тот момент на Эйфелеву башню. Она задрожала всем телом, как женщина, — та, которая удалялась, уже не различимая среди пешеходов и автомашин, та, которая семь минут назад вышла из моей комнаты, подставив на прощанье щеку, будто шла в булочную за бубликами.

Башня уже валилась, и тень ее скользила по бульвару Сен-Жермен, или как он там называется, со скоростью летящей птицы.

Но я слышал стук ее каблучков по асфальту, стук мартовских ледяных каблучков, несмотря на то что была осень, а часы показывали без пяти минут шесть.

Башня падала бесшумно, как в замедленном кино. Обидно было, что падает замечательное сооружение, взлет инженерной мысли конца прошлого века, падает так бездарно и непоправимо, как спившийся поэт или средневековый алхимик. Достаточно было поддержать ее мизинцем, чтобы она опомнилась, но стука каблучков уже не было слышно, а плащ растворился в слезах.

Этот плащ она купила в детском магазине.

Она маленькая — это выгодно. В детском магазине можно купить неплохую вещь дешево, будто для дочки или для младшей сестры, и носить ее на здоровье. Когда я с нею познакомился, она донашивала платье с немецкой куклы. Кукле оторвали голову, и платье оказалось лишним. Без головы можно пожить и нагишом. Это не стыдно.

Она сказала:

— Спрячь меня в портфель, не то нас могут увидеть вместе. Я не хочу лишних разговоров.

И я спрятал ее в портфель и терпеливо носил целый год с небольшими перерывами. Когда я открывал портфель и заглядывал к ней, она поднимала лицо для поцелуя, быстро оглядываясь по сторонам, чтобы удостовериться, что за нами не наблюдают. У нее были такие невинные глаза, что мне хотелось рассказывать ей сказки Андерсена и водить за ручку в детский сад. Однако где-то в другом измерении, по субботам и воскресеньям, она была взрослой женщиной, не первой уже молодости, с мужем, дочерью, квартирой и Эйфе-



левой башней в виде безвкусного кулона, который она почему-то любила носить.

Дешевый сувенир, подаренный ей французским туристом за прекрасные глаза.

— Амур! Амур! — мурлыкал он, изгибаясь в талии, как истинный француз, и наклоняясь к ней, будто они в Париже. Так она рассказывала. Ей тогда было девятнадцать лет, иностранных языков она не знала, как и сейчас, и, слушая француза, представляла себе реку Амур — синюю, как вена на руке. Позже она поняла значение этого слова.

Я никогда не думал, что попадусь на столь нехитрую приманку, как невинные глаза. Все дело, конечно, в Эйфелевой башне, которую она мне вручила на память после первой нашей ночи. Это была приятная ночь. Мы получили друг от друга то, что хотели, не больше, но и не меньше. Встречаться дальше не имело смысла, так как мы понимали, что только испортим удовольствие, если растянем его на несколько месяцев. И вот тогда она, не вставая с постели, протянула руку к стулу, где валялась ее скомканная одежда, ранее сорванная мною с ненужной поспешностью, и взяла кулон, который она сняла сама, когда мне снимать уже было нечего. Кулон лежал, утопая в прозрачных, тонких чулках.

— Чтобы ты меня вспоминал, — сказала она, вешая его мне на шею. Ее невинный, детский взгляд ничуть не изменился от того, что она лежала рядом со мной обнаженная, и это меня испугало. Я поставил ее на ладонь, а рядом установил Эйфелеву башню. Они были почти одного роста. Серебряная цепочка тянулась от башни, обвивая мне шею. Она тоже обвила меня руками, закрыла глаза и поцеловала уже без страсти, вполне удовлетворенная таким красивым, кинематографическим исходом. Потом она оделась и ушла.

Я спрятал Эйфелеву башню в бумажник. Широкое, сантиметра в два, основание башни оттопыривало карман бумажника и вскоре прорвало его. Через несколько дней я заметил, что ножки башни, вылезшие из бумажника, царапают мне грудь через рубашку, причиняя небольшую боль. За это время мы с нею не встречались, лишь разговаривали по телефону, обмениваясь даже

не словами, а интонациями голоса. Слова были самыми банальными.

— Ты меня любишь? — спрашивал я, покровительственно улыбаясь телефонной трубке.

— Не говори глупостей, — отвечала она.

— Когда мы встретимся?

— Это очень сложно. . .

— Ты меня не любишь. . .

И тому подобное.

Приятно было играть в эту беспронзримую игру, зная, что уже выиграл когда-то и можно выиграть еще раз, если пожелается. Эйфелеву башню я переложил в портфель, иногда вытаскивал ее за цепочку и покачивал, точно гирику. Она сильно потяжелела, носить ее на шее было теперь невозможно, потому что цепочка впивалась в тело, оставляя глубокий узорчатый след. Да и портфель с башней я носил с напряжением, пока однажды не отвалилась ручка, не выдержав тяжести.

А по телефону она сообщала мне удивительно безмятежным голосом всякие новости из своей жизни. Два раза она летала на Луну, по возвращении превращалась в мимозу, чтобы муж ухаживал за нею, а потом выходила на работу, радуя сослуживцев свежестью. Кроме того, когда ей было скучно, она каталась на диске граммофонной пластинки, уцепившись руками за металлический колышек в центре. Она любила эстрадную музыку, которую я не переваривал. Ее жизнь казалась мне излишне пустой. Может быть, потому, что я смотрел со стороны.

— Твоя башня чуть руку мне не оторвала, — сказал я как-то раз.

— Какая башня? — удивилась она.

— Эйфелева башня, — сказал я со злостью.

— Ах, мой кулон! — рассмеялась она. — Подари его своей новой возлюбленной.

— У меня нет новой возлюбленной, — сказал я и повесил трубку.

В то время я реставрировал египетскую пирамиду. Приближался конец года, и нужно было писать отчет о реставрации. По утрам я взбирался на пирамиду, держа в руке портфель, и вел тоскливые споры с прорабом. Настроение портилось с каждым днем, потому

что реставрация велась кое-как, да еще проклятая башня очень меня утомляла. Оставлять ее дома я не решался: башню могла обнаружить жена. После того как отвалилась ручка портфеля, я поставил новую, железную, но это был не выход. Наконец я не выдержал и позвонил ей.

— Нам нужно встретиться, — сказал я.

— Зачем? — спросила она. — Мы же договорились. Останемся друзьями. Кроме того, мне завтра предлагают билет на новую революцию. Где-то в Латинской Америке. Ты не представляешь! Говорят, будут стрелять подряд две недели.

— Мне нужно отдать тебе башню, — отдельно произнес я.

— Если она тебе мешает, отправь ее почтой, — сказала она. — Только, ради Бога, до востребования!

Я с трудом принес Эйфелеву башню на почту и упаковал в фанерный ящик. Башня еле в нем поместилась. Со всех сторон я обложил ее ватой, чтобы башню не повредили при перевозке. Мне пришлось довольно дорого заплатить за посылку, так как она была тяжелая, но домой я возвратился радостный и счастливый. Башни более не существовало.

Ночью ко мне пришли китайские императоры в длинных одеждах. Каждый из них имел баночку с тушью и кисточку. Они кивали своими фарфоровыми головами, слушая, как я радовался избавлению от башни, и невзначай рисовали иероглифы на обоях. Штрихи иероглифов напоминали ресницы моей бывшей возлюбленной, а цветы на обоях смотрели сквозь них тем же невинным взглядом. Потом я прогнал императоров, и они, толпясь и чирикаая, как воробьи, спустились по ночной лестнице и вышли из подъезда. Трамваи уже не ходили. Я видел с балкона, как императоры ловили такси, бегая по улице, подоткнув свои халаты.

Утром я проснулся, с удовольствием вспомнил о возвращенной башне и собрался идти на реставрацию с легкой душой. Но, когда я вышел из подъезда, оказалось, что все не так просто, как я предполагал. Башня была тут как тут.

Она стояла во весь свой трехсотметровый рост на чугунных опорах в виде гигантских арок, под которыми

беспечно летали птицы. Одна из опор, самая ближняя, преграждала улицу рядом с домом, где находилась почта, откуда я вчера столь легкомысленно пытался отправить башню. На второй опоре, на высоте примерно семидесяти метров, болтался автофургон с надписью «Почта», нанизанный на одну из черных чугунных балок, точно сушеный гриб на лучинку. Фургон со скрежетом сползал по балке вниз, а из его распоротого кузова сыпались аккуратные фанерные ящики посылок.

Милиционеры уже оцепили ближайшую опору и на всякий случай никого к ней не подпускали. Вероятно, и остальные опоры были оцеплены, но они были далеко, за домами. . . Верхушка башни торчала высоко в небе; рядом с нею, как мухи, кружились три вертолета, производя фотосъемку, а наверху, на самом кончике радиоантенны, висела тоненькая серебряная цепочка от кулона. Я знал, что она там висит.

Мне ничего не оставалось, как пройти мимо башни с чувством некоторого беспокойства и одновременно удовлетворения. И потом, когда я ехал на трамвае и выглядывал в окно, любуясь башней, эти чувства меня не покидали.

Она позвонила мне на работу, чего раньше не случилось. До этого всегда звонил я.

— Что ты натворил? — спросила она испуганно.

— Это мое дело.

— Я тебя прошу, чтобы ты сейчас же сделал все как было, — быстро проговорила она шепотом. — Не бери в голову!

Это была ее любимая поговорка — «Не бери в голову».

— Не мешай мне, — сказал я.

— Все же увидят!

— Все уже увидели.

Более того, все не только увидели башню, но и сделали определенные выводы. Через некоторое время я заметил, что возле башни ведутся земляные работы. Я подумал, что башню решено снести, но бульдозерист, к которому я обратился с вопросом, ответил, что он разравнивает землю под бульвар Сен-Жермен. Название его не очень удивляло, да и к башне бульдозерист уже привык.

Вокруг башни на глазах вырастал уголок Парижа с каштанами на бульваре, со знаменитыми лавками букинистов на набережной, с домиками неизвестного назначения, возле которых по вечерам стояли толстые усатые женщины, внимательно оглядывая прохожих.

К этому времени моя бывшая возлюбленная вернулась ко мне. Конечно, она сделала вид, что пришла в первый раз после той ночи просто так. Она щебетала что-то насчет башни, вспоминала незадачливого французика, подарившего ей кулон, но я видел, что ее распирает от гордости. В тот вечер мы пошли по бульвару Сен-Жермен и с легкостью перешли на французский, целуясь под каштанами на глазах у прохожих, среди которых было немало ее и моих сослуживцев.

— Ты хотела быть в Париже, — говорил я с великолепным прононсом, — вот тебе Париж!

Потом нас подцепила одна из усатых женщин, которая оказалась владелицей небольшого особняка с видом на башню. Она дала нам ключи от комнаты на втором этаже. Там, рядом с постелью, был накрыт столик на двоих с вином и омарами, которые мне совсем не понравились. Но она героически жевала омаров и повторяла одно слово:

— Шарман!

Затем мы занимались любовью, не торопясь, будто на скачках, а делая это изысканно, по-французски, с легким оттенком небрежности. Башня светилась огнями в окне — абсолютно грандиозная, чистое совершенство, самая настоящая Эйфелева башня.

Теперь ей уже хотелось, чтоб все знали историю башни. Она даже сердилась на меня временами, упрекая в ненужной скромности, потому что башня заслуживала авторства.

А я, лежа с нею в меблированных комнатах, курил и смотрел на башню, удивляясь ее высоте и прочности.

Китайские императоры уже не приходили ко мне. Не заглядывали они и на бульвар Сен-Жермен, чтобы благословить влюбленных своими загадочными иероглифами, которые обозначали, должно быть, жизнь и смерть, цветущую вишню и нежный, едва заметный пушок на мочке уха женщины. На башню записывались экскурсии туристов, а вскоре было заре-

гистрировано и первое самоубийство. Какой-то выпускник средней школы ухитрился забраться на самый верх и повеситься там на серебряной цепочке от кулона. Говорили, что он был влюблен в свою учительницу, но та не принимала его любви всерьез. Это происшествие расстроило меня и заставило взглянуть на башню по-иному.

Сменились четыре времени года, и наступило пятое — тоска. Мы по-прежнему ходили на бульвар к одной и той же хозяйке, которой я заплатил за год вперед, ели тех же омаров или устриц и любили друг друга с некоей спокойной обреченностью, ибо башня стояла как вкопанная. Башня явно не собиралась снова становиться кулоном.

И вот однажды осенью, когда моя жена уехала, как я подозреваю, в одно из моих юношеских стихотворений и бродила там между строк, роняя редкие слезинки, моя возлюбленная пришла ко мне домой. Она тоже была печальна и даже не ответила на мой поцелуй. Я чуть было не сказал: на мой дежурный поцелуй. Мы сидели в комнате, пили вино и видели в окне башню, на которой болталась люлька с малярами.

— Будет как новенькая, — сказал я.

— Я очень устала, — сказала она. — Нужно что-нибудь придумать. . . Да, я легкомысленная, я дрянь, дрянь, дрянь! Но эта башня не для меня. Я вся извелась. Признайся, что ты поставил ее нарочно, чтобы всю жизнь напоминать мне: дрянь, дрянь, дрянь! . .

Ее слова звенели, как колокольчики: дрянь, дрянь, дрянь! Как дверной колокольчик в старинном особняке с деревянной лестницей, над которой висит пыльная шпага хозяина. Прислушавшись еще раз к звонку, я встал и открыл дверь. На пороге стоял промокший китайский император. Его одежды облепили жалкую, худую фигуру, отчего он был похож на свечку с застывшими на ней струйками воска. Лицо, нарисованное тушью, было начисто смыто дождем: ни глаз, ни носа, ни рта. Он протянул мне руку и разжал кулак. На узкой ладони с непомерно длинными пальцами лежал мокрый скомканный иероглиф. Я его сразу узнал. Он обозначал любовь.

— Я не могу без тебя, — услышал я за спиной ее жалобный голос.

— Да-да, встретимся на бульваре, — сказал я. — Все будет хорошо, вот увидишь.

И я почувствовал, как она обнимает меня и прижимается сзади всем своим маленьким телом, вздрагивающим под белым плащом фабрики «Большевичка». На секунду я поверил, что все и впрямь будет хорошо, и, быстро оглянувшись, посмотрел на башню. Она равнодушно стояла на том же самом месте. И я тоже обнял и поцеловал свою возлюбленную, шепча слова, от которых она успокоилась, и даже вновь улыбнулась невинно, и подставила щеку для прощального поцелуя совсем уж по-старому, точно шла в булочную за булками.

А когда она вышла из подъезда, башня упала. Об этом я уже рассказывал. Осталось описать последний момент, когда верхушка башни достигла земли, а вся башня переломилась в середине. Верхняя часть ее упала поперек бульвара, а нижняя, нелепо вздернув две опоры вверх, точно собака у столба, легла вдоль улицы. Грохот был ужасающий. Но она даже не оглянулась, продолжая идти своей упругой, легкой походкой, пока не затерялась в толпе.

Поверженная и разбитая, Эйфелева башня все равно выглядела внушительно. Падая, она разрушила несколько домов, из обломков которых выбегали размахивающие руками люди с чемоданами и тюками. Потом обломки башни покрылись полчищами гигантских муравьев, которые бегали по чугунным балкам с озабоченным видом и ощупывали дрожащими усиками мертвый металл. Башня скрылась под их шевелящейся массой, а когда они разбежались, унося с собой башню по частям, на земле бульвара Сен-Жермен остались лишь глубокие рваные раны, сломанные каштаны и груды кирпичей на месте того особнячка, куда мы отправимся завтра.

## КАМЕННОЕ ЛИЦО

Не так давно мне потребовалось сделать каменное лицо. Обстоятельства сложились так, что мне совершенно необходимо было иметь каменное лицо хотя бы несколько часов в сутки. Я просто мечтал о том, чтобы в эти часы с моим лицом было все в порядке, части его не разбегались в стороны, и я мог управлять ими с достоинством.

Этого никак не получалось.

Раньше все происходило само собою. Глаза и брови жили в согласии, уши не мешали щекам, губы двигались ритмично, а лоб находился в состоянии покоя, изредка нарушаемом размышлениями. В таком виде мое лицо было не слишком привлекательным, но вполне человеческим — во всяком случае, оно не выделялось в толпе. С первого взгляда становилось понятно, что его обладатель живет ординарной духовной жизнью, ни на что более не претендуя.

С некоторых пор, однако, произошли изменения.

Теперь, когда я вхожу в автобус (грамвай, троллейбус, самолет, дирижабль), непременно находится кто-то, не обязательно знакомый, кто в ужасе восклицает:

— Что с вами?! На вас лица нет!

Этот невоспитанный человек просто первым обращал внимание на то, что было видно остальным. Поначалу меня пугали подобные возгласы, я подбегал к зеркалу (в автобусе, трамвае, троллейбусе, самолете, дирижабле) и удостоверяться, что со мною не шутят. Лица не было! То есть было нечто, отдаленно напоминавшее разбегающуюся шайку преступников. Щеки прыгали вразнобой, нос заглядывал в левое ухо, а губы были перепутаны местами. Причем, вся эта компания



стремилась оттолкнуться друг от друга как можно дальше, переругиваясь, передергиваясь, производя неприличные жесты и обмениваясь оскорблениями. Мне жалко было смотреть на них.

В особенности неполадки с моим лицом становились заметны именно тогда, когда их опасно было обнаруживать, то есть в те часы и в тех местах, где я заведомо должен был производить впечатление здорового, цветущего и даже процветающего человека, которому не страшны никакие личные и общественные неурядицы. Довольно, довольно! Пускай у других краснеют веки, бледнеют щеки, зеленеют глаза! Пускай, пускай у них зубы выстукивают морзянку, язык проваливается в желудок, брови ломаются от душевных мук. При чем тут я? Я должен быть выше этого!

Вот почему я мечтал о каменном лице.

И главное — вокруг столько каменных лиц! Включишь телевизор — каменное лицо. Войдешь в автобус (трамвай, троллейбус, самолет, дирижабль) — полно каменных лиц! Сидишь на собрании — каменные лица у всех, вплоть до президиума и выступающих в прениях. Как им это удается?

Вероятно, они знали особый секрет, неизвестный мне. «Вот, вот тебе наказание за твой индивидуализм! — временами злорадно думал я о себе. — Вот и воздалось, и аукнулось, и откликнулось! Будешь знать, как быть счастливым, попирателем моральных устоев, суперменом. Лови теперь свои дергающиеся веки!»

Вследствие плохого поведения моего лица, мне перестали верить. А может быть, лицо стало таким, потому что я вышел из доверия. Так или иначе, я стал физически чувствовать, как лгут губы, как притворяются глаза, как обманывают уши. Потеряв согласованность в движениях, они стали врать, как нестройный хор. Каждый звук в отдельности еще можно было слушать, но в совместном звучании обнаруживалась нестерпимая фальшь.

Я решил принять срочные меры, чтобы достигнуть каменного лица.

По утрам я делал гимнастику, распевая песни. Потом проводил аутогенную тренировку, повторяя про

себя: «Я им покажу. . . я им покажу. . . я им покажу. . . каменное лицо!» Затем я ехал на работу, стараясь миновать памятные места, где мое лицо сразу же выходило из повиновения. Но таких мест много было в городе, почти на каждом углу, в каждом скверике, в каждой мороженице. Мое лицо убегало от меня, я выскакивал из автобуса (трамвая, троллейбуса, самолета, дирижабля) и бежал за ним, размахивая руками. Со стороны это выглядело так: впереди, рассекая воздух, мчался мой нос, по обе стороны от которого, наподобие эскорта, летели уши. Чуть ниже неслись губы и щеки — абстрактная африканская маска, совершающая плоскопараллельное движение. Сзади, задыхаясь, бежал я — безобразный до невозможности, безликий. Так мы с лицом обходили опасные места, которых, повторяю, было множество. На нейтральной территории, не связанной с потерей лица, я догонял нос, ставил его на место, симметрично располагал брови, щеки и уши, приводил в порядок губы — они еще долго дрожали. В таком виде я добирался до работы, входил в комнату с сотрудниками, и тут все части моего лица мгновенно испарялись. Черт знает что, сублимация какая-то! Они просто исчезали, их не было смысла ловить.

Так я проводил те несколько часов, в течение которых хотел иметь каменное лицо.

Какое там каменное! Хоть бы тряпичное, хоть бы стеклянное, хоть бы какое! Нельзя так унижаться.

Я совершенно измучился за какой-нибудь месяц. Моим губам не верили. В глаза не смотрели. Уши мои, возвращаясь на место, имели обыкновение менять размеры. Они торчали над головой, как неуклюжие розовые крылья, уменьшаясь лишь к утру следующего дня.

Наконец я не выдержал и обратился за помощью к человеку, лицо которого показалось мне наиболее каменным. Я встретил его в молочной столовой. Он сидел за столиком и ел сметану, тщательно выгребая ее ложечкой из стакана. Я понял, почему он ел сметану. Его лицо было настолько каменным, что даже жевать он не мог. Он просовывал ложечку в рот и незаметно глотал сметану. С большим трудом мне удалось привлечь его внимание. Для этого пришлось уронить под-

нос, на котором была манная каша и сливки.

Он повернул лицо ко мне, и тут, желая заставить его врасплох, я спросил:

— Каким образом вы достигли такого лица?

Он не удивился, выскреб остатки сметаны и проглотил. Это был нестарый еще человек, приятной наружности, с живыми глазами. Мне как раз понравилось, что глаза у него живые, а лицо каменное. Сделать каменное лицо при мертвых глазах — дело плевое.

— Есть способ, — сказал он.

— Научите, ради Бога, научите! — воскликнул я, чувствуя, что лицо мое опять начинает разбегаться.

— Да, здорово вас отделали, — сказал он сочувственно.

— Мне плевать на это! Я выше этого! — закричал я, отчаянно пытаюсь вернуть губы на прежнее место.

— Я вижу, — сказал он.

Он поднялся из-за стола, вытер салфеткой рот и сделал мне знак следовать за ним. Мы вышли на улицу.

— Я могу вам помочь, но не уверен, что вы обрадуетесь, — ровным голосом произнес он. — Сам я избрал этот способ несколько лет назад. С тех пор я живу. . . (он сделал паузу) нормально.

— Я тоже хочу жить нормально! — воскликнул я.

— Придерживайте брови, — посоветовал он. — Они собираются улететь.

Я прикрыл лицо ладонями.

— Вы похожи на человека, который ремонтирует фасад, когда в доме бушует пожар, — заметил он.

— Я ремонтирую пожар, — невесело пошутил я.

— Можно и так. Тем самым вы даете огню пищу.

Мы прошли несколько кварталов, свернули в темный переулок и вошли в подъезд. Лестница была широкая, мраморная, освещенная тусклой лампочкой. Мы поднялись на второй этаж — мой новый знакомый впереди, а я сзади. Он отпер дверь, и мы оказались в прихожей, отделанной под дуб. На стене висело зеркало в бронзовой раме.

— Посмотрите на себя, — сказал он.

Я взглянул в зеркало и увидел то же ненавистное мне, жалкое, растекающееся лицо.

— Вы твердо хотите с ним расстаться?

— Как можно скорее! — со злостью сказал я.

Хозяин пригласил меня в комнату, где стояли мягкие кресла и диван, окружавшие журнальный столик. Стена была занята застекленными полками со встроенными в них телевизором, магнитофоном и закрытыми шкафчиками. На одном из них, железном, была никелированная ручка.

— Садитесь и рассказывайте, — предложил он.

— Что?

— Все с самого начала, ничего не утаивая.

Я начал говорить. Губы не слушались меня. Я по минутно щипал их, дергал, тер щеки пальцами, разглаживал лоб. Мое лицо не желало становиться каменным. Оно яростно сопротивлялось, пока я рассказывал до удивления простую историю, произошедшую со мной.

Историю о том, как я потерял лицо.

Хозяин слушал внимательно. Холодная маска была обращена ко мне. Лишь один раз, когда я рассказывал о том, как горел тополиный пух, по его каменному лицу пробежала судорога.

— Простите, — сказал он. — Это очень похоже.

И тут мне послышалось, что от книжных полок исходит глухой звук. Что-то тяжело и мерно ворочалось там, у стены.

— Больше мне нечего рассказывать, — сказал я.

— Верю, — сказал он.

Я почувствовал, что внутри у меня стало просторно, будто раздвинулась грудная клетка и сердце летало в ней от стенки к стенке, глухо выбивая: тук. . . тук. . . тук. . .

— Сейчас я вас освобожу, — сказал хозяин.

В его руке сверкнул ключик, которым он дотронулся до меня, до моей груди. Что-то щелкнуло, будто искра вонзилась в меня, и я потерял сознание. Медленно клонясь на диван, я успел заметить, что хозяин приближается к шкафчику с никелированной ручкой, а на его ладони горит красный шар величиной с яблоко. Вот он открывает бесшумную дверцу, подносит горящий шар к темной впадине, вот. . .

Когда я очнулся, передо мною стояла чашка черного кофе.

— Мы теперь братья, — сказал хозяин строго. — Вы это запомните.

— Что вы со мной сделали? — спросил я.

— Посмотрите на себя.

Я вышел в прихожую и подошел к зеркалу. Из него взглянул на меня человек с каменным лицом. Только глаза оставались живыми, и в них жила боль.

— Это я, — прошептал я себе.

— Это я, — беззвучно повторил он губами.

Я вернулся к хозяину, и мы выпили кофе в молчании. Ни один мускул не дрогнул на наших лицах. Я поблагодарил и с трудом заставил себя улыбнуться.

— Все-таки интересно, в чем тут фокус? Лекарство?

— Фокус в том, — медленно произнес он, всем телом наклоняясь ко мне, — фокус в том, что ваше сердце спрятано там, в сейфе. . . Рядом с моим. Вот в чем фокус.

С тех пор у меня каменное лицо. Я живу нормально. Никакие обстоятельства, памятные места наших встреч и даже презрительные взгляды моей бывшей возлюбленной не выводят меня из равновесия. Что поделать, если можно иметь либо сердце, либо лицо. Отсутствие сердца не так заметно для окружающих.

## СТРЕЛОЧНИК

Это объявление я услышал в вагоне пригородного электропоезда. За окном летел куда-то вбок мокрый зимний лес, а машинист перечислял по радио, какие специальности требуются управлению железной дороги. Относительная влажность была сто процентов. Ни одной из перечисляемых специальностей я не владел, что почему-то вызывало грусть. Последним в этом списке утраченных возможностей значился стрелочник. «Одиноким стрелочникам предоставляется общежитие», — сказал репродуктор и умолк.

Я всегда был одиноким, но никогда — одиноким стрелочником. Нельзя сказать, что мне нравилось быть одиноким, да и профессия стрелочника не слишком привлекала меня. Но в сочетании слов «одинокий стрелочник» была какая-то необъяснимая прелесть, что-то настолько беспросветное и неуютное, бесправное и жалостное, что я немедленно вышел из электрички и отправился искать управление железной дороги.

Кажется, там подумали, что мне требуется общежитие. Человек в черном кителе с оловянными пуговицами долго рассматривал мое заявление на свет, ища намек на общежитие и пропуская самые главные слова об одиночестве стрелочника. Ему не приходило в голову, что в общежитии сама идея одиночества теряет всякий смысл.

— Хотите быть стрелочником? — наконец спросил он и задрал голову так, что его ноздри уставились на меня, точно дула двустволки.

— Одиноким стрелочником, — поправил я.

— Да, именно одиноким стрелочникам мы предоставляем общежитие, — с удовольствием выговорил он.

— Я не прошу этой привилегии, — сказал я. Должно быть, я вел себя неправильно или говорил не те слова, потому что железнодорожник заерзал на своем кресле, а в глазах его на секунду мелькнул испуг.

— Вы отказываетесь от общежития? — спросил он задумчиво и вдруг снова вскинул голову и прокричал: — Или как?

— Послушайте, — сказал я ему. — Дайте мне какую-нибудь стрелку. Я постараюсь быть полезен. . . А мое одиночество не может иметь для вас принципиального значения.

— Нет стрелок! Нет ни одной стрелки! — закричал он, как можно дальше отодвигая от себя мое заявление. — Ради Бога, заберите ваше заявление. . . Я вас прошу! Масса других специальностей, курсы, стипендии, повышение без отрыва. . .

— У меня мечта, — сказал я. — Дайте мне стрелку, маленькую будочку, свой семафорчик, желтый и красный флажки. . . Нет, я сам их сошью. Это больше соответствует одиночеству. В крайнем случае, я обойдусь без семафорчика.

Он подписал заявление.

И вот я стрелочник. У меня своя будочка, подогреваемая изнутри небольшой электрической лампочкой, которая одновременно служит для освещения. До стрелки ходить совсем недалеко, километра два, и я ежедневно проделываю этот путь туда и обратно по нескольку раз. Работа у меня сдельная, и зарплата зависит от количества проходящих мимо поездов. Иногда случается, что поезда по какой-нибудь причине не ходят, но это бывает редко.

Самое главное в моей работе, как я быстро понял, — это угадать момент приближения поезда, так как расписания у меня нет. Мне пытались всучить прошлогоднее расписание, но я отказался, полагаясь на свою интуицию. Интуиция должна быть двойной, потому что нужно угадать не только, идет ли поезд, но и нужно ли переводить стрелку.

Обычно я угадываю первое безошибочно за полчаса до прохода поезда. Это как раз то время, которое требуется, чтобы неторопливо дойти до стрелки и только тут, когда огни поезда уже видны, за считанные се-

кунды решить, нужно ли переводить стрелку. Как правило, я ее не перевожу, но бывает, что перевожу, проклиная себя в душе за уступчивость. Почему-то мне никогда не хочется ее переводить.

Моя стрелка очень проста. Говорят, что есть более сложные стрелки, но ими управляют и более одинокие стрелочники. Я еще не слишком одинок. Мне еще улыбаются девушки из окон электричек, так что возможностей для совершенствования сколько угодно.

От моей первой стрелки отходят два пути — левый и правый, а подходит к ней один — центральный. Эту терминологию нужно выучить раз и навсегда и ни в коем случае не путать. Стрелку следует переводить до прохода поезда, в противном случае будет поздно. То есть можно перевести и потом, но в этом уже будет мало смысла. Ни за что на свете нельзя переводить стрелку в середине состава, так как может произойти что-нибудь непредвиденное. Об этом меня особенно предупреждал мой учитель, бывший одинокий стрелочник, к которому неожиданно вернулась жена с сыном, поставив его перед необходимостью менять специальность.

Переведя стрелку, я обычно встаю рядом с нею, держа в правой руке желтый флажок. При этом я смотрю на окна вагонов, надеясь, что пассажиры оценят мое старание, точность и полное бескорыстие. Впрочем, я не требую оценки, хотя бывает очень приятно, когда какая-нибудь женщина бросит мне цветок или ребенок состроит рожицу. Однако чаще летят пустые бутылки, что очень действует мне на нервы.

Проводив поезд, я смазываю стрелку и возвращаюсь в будочку. Вот тут-то и наступают минуты, ради которых я бросил бывшую свою профессию и подался в одинокие стрелочники без общежития. Я достаю свою любимую игру, детскую железную дорогу с шириной пути 12 миллиметров, изготовленную в ГДР, и раскладываю ее на полу в будочке. У меня один паровоз, но зато стрелок целая уйма, и многие из них не в пример сложнее той, за которую мне платят деньги. Я кладу пальцы на клавиатуру пульта и играю, закрыв глаза, какую-нибудь мелодию. Слышно, как щелкают игрушечные стрелки и носится, жужжа, мой паровозик.



Еще ни разу он не сошел с рельсов, хотя путь его бывает настолько причудлив, что даже сам я удивляюсь. Игра требует полного, совершенного одиночества, одиночества на всю катушку, и безусловно непригодна для общежития.

Таким образом я совершенствуюсь в своей специальности. После таких упражнений мне нисколько не трудно управляться со своей подотчетной стрелкой. Не трудно, но скучновато. Потому как, что ни говори, а два пути, которые находятся в моем ведении, не исчерпывают возможностей фантазии и вдохновения.

Больше всего меня печалит, что работа моя, в отличие от игры, абсолютно бессмысленна. Я уже несколько раз убеждался, что оба пути совершенно равноправны, и поезду все равно, по какому идти. Но дело даже не в этом.

Я совершенно точно знаю, что в пяти километрах от моей стрелки находится точно такая же, но обратного действия. Она сводит два пути в один. Там тоже имеется будочка, в которой сидит стрелочник-профессионал с тридцатилетним стажем. Куда бы я не загнал свой поезд, он все равно направит его на центральный путь. Это единственное, что он умеет делать. Я думаю, что он уже изучил мою манеру и заранее знает, с правого или левого пути ждать от меня поезда.

Кстати, он тоже совершенно, совершенно одинок.

---

*фантастические  
миниатюры*



## ОНИ И МЫ

Они хитрые. Выскочат откуда-нибудь и давай нас колотить.

А это не мы.

Сильно огорчившись, уползают обратно.

Мозги у них извилистые и запутанные, как лабиринт. Войдешь туда и долго бродишь в одиночестве, натываясь на стены. В голове у них гулко и прохладно. Одицавшее эхо носится из стороны в сторону. На стенах лабиринта видны торопливые записи карандашом.

Они любят делать заметки на стенах.

Наконец находишь центр лабиринта, затратив на поиски целый день. А там пусто.

Они отлили из чугуна карту России, украсили ее флажком и понесли на нас, держа карту наперевес, как таран. Сзади бежал самый маленький, ухватившись за чугунную Камчатку.

Со свистом и гиканьем мчались они к нам, целя в грудь побережьем Финского залива.

Им удалось свалить нас и придавить сверху чугунной картой.

Теперь мы лежим где придется и физически ощущаем, как отпечатываются на коже горы, долины, деревни и города.

Они умеют уметь.

Мы одеваемся, а они умеют одеваться. Мы едим, а они умеют есть. Мы пьем, а они умеют пить. Мы пишем, а они умеют писать. Мы живем, а они умеют жить.

Зато мы умеем смеяться.

## МУЖИК

Мужик лежал поперек дороги неподвижно. Одной ногой он упирался в дом, а другую откинул вдоль проспекта, как разведенный циркуль. Голова его была за линией железной дороги, а тело располагалось в сквере, примяв зелень.

Это было летом.

Мужик был очень большой, метров четыреста в длину, и небритый. Кроме того, в одних носках.

Движение остановилось. Трамваи выстроились в затылок, а люди пошли пешком. Обойти мужика было непросто.

К счастью, он лежал смирно.

Приехала милиция и начала мужика измерять. Тому стало щекотно от рулетки, которую протягивали вдоль ноги, и он проснулся.

— Где башмаки? — закричал мужик таким голосом, что милиция вся шарахнулась.

Башмаки нашли в Парголове и привезли на грузовике. Мужик успокоился, обулся и ушел.

## ИСКУШЕНИЕ

Я распахнул балконную дверь. Плотный, морозный воздух надвинулся на меня и окутал с головы до ног. Я хотел отступить назад, но заметил человека, пролетающего на уровне балкона, метрах в трех от меня, по воздуху в сторону парка. Лицо человека было сосредоточенным, а глаза слезились, видимо, от ветра. Одет он был не по сезону.

— Полетаем, — позвал он меня.

— Холодно, — сказал я и поежился, чтобы показать ему, что мне и вправду холодно.

— Оденьтесь, — сказал он. — Я подожду.

— Я не умею, — признался я. — Не умею летать.

— А вы пробовали? — спросил человек, делая плавный поворот влево. Он, по всей видимости, наслаждался полетом.

— Нет, не пробовал. Но мне кажется, что я не умею.

Человек покачал головой, и все тело его при этом также покачивалось.

— Мне не хочется вас убеждать, — сказал он. — Маршрут у меня сегодня легкий. Могли бы попробовать. Вы не представляете, как это хорошо!

— Представляю, — сказал я. — Это, наверное, полезно?

— Нет ничего более бесполезного! — заявил человек. Кажется, он рассердился и, чтобы успокоиться, сделал кувырок вперед.

— Ну так что? — спросил он.

Я колебался. Лететь в рубашке было действительно холодно, а в пальто попросту неприлично. Кто же летает в пальто?

— Значит, не хотите? — Человек сложил руки над головой и взмыл метров на десять выше. — Вы, право, чудак!

— Закрой балкон! — раздался из кухни голос жены. — Дует!

Я закрыл балкон и долго наблюдал за человеком, прижавшись лбом к стеклу. Человек летел медленно, с наклоном вперед, и ничто ему не мешало. Ноги были вытянуты в струнку, как у гимнаста, а руками он подруливал.

Должно быть, хороший человек.

Не знаю, нашел ли он попутчика. Стекло запотело, и я его больше не видел.

## ХРАМ

Внутри церковь была отделана кафелем, как туалет в гостинице «Астория». Ходил молодой поп без бороды, но при галстукe, помахивая кадильницей в виде бутылки коньяка.

Он подошел ко мне и спросил:

— Что будем брать, сын мой?

— Екклезиаст есть? — спросил я в свою очередь.

— Кончился, — равнодушно сказал поп. — Возьмите от Луки. Или деяния.

— Хорошо, пускай будут деяния.

Он ушел, а я стал разглядывать алтарь. В центре

иконостаса помещался холодильник, который поминутно открывали страждущие и алчущие. Алчущих было больше. Праздничный чин был заполнен экранами телевизоров, где показывали футбол.

Мимо меня прошел крестный ход из четырех чело-век и уселся за соседний столик. Они запели псалмы, но другие верующие их не поддержали.

Попик принес мне деяния. Деяния были так себе. Видимо, вчерашние. Сбоку и наискосок от меня занял место капитан второго ранга, который сразу же начал молиться истово и со знанием дела.

— Христос воскрес? — спросил он меня в пере-рыве.

— Не знаю, — ответил я. — Судя по всему, еще нет.

— А мне говорили, воскрес, — доложил капитан, разделяваясь с притчами Соломоновыми.

В это время в храм вошел юноша, похожий на хиппи, с кнутом в руке. Ни с того ни с сего он стал браниться и щелкать кнутом. Потом он перевернул столик у входа, всем своим видом показывая, что очень недоволен. При этом он упоминал какого-то Отца и заявлял, что храм, дескать, принадлежит тому.

Его, разумеется, связали и отправили в милицию.

## ПРОПОВЕДЬ

«...Что же это делается, любезные вы мои? Дошли, как говорится, до ручки.

Вчера подходит ко мне один и спрашивает, в чем смысл жизни.

Нет, надо же такое придумать! Раньше вообще запрещалось жить, если этого не знаешь. А ему уже двадцать семь, не меньше. Где он учился? Просто стыдно делается за людей. У меня такое чувство, что приходится метать бисер перед свиньями. Единственное, что меня утешает: этим занимались и другие. Толку, правда, никакого.

Я хочу сказать, что они метали бисер.

Как нужно метать бисер? Изготовив самостоя-тельно или приобретя бисер, нужно встать на возвыше-

ние. . . Вы можете не слушать, у вас все равно бисера нет и не будет!

Можно и без возвышения.

Так вот. Жрем, спим, развратничаем, прости меня Бог, и все! Все! А между прочим, не за горами конец света. Ха-ха-ха! Очень смешно. . . Вот вы, в третьем ряду, выйдите вон! Почитайте букварь, потом возвращайтесь.

Честное слово, вся моя любовь к вам исчезла. Любовь к себе тоже не стоит ни гроша. Любите детей и животных, пока они есть. Я кончаю, не дергайте меня за мантию! . .

Доктор, у которого я лечился, сказал, что мне повезло. Он ошибся, этот доктор. Мне следовало родиться на другой планете, слышите? Хотя я глубоко уверен, что там не менее мерзко.

Мойте хотя бы руки перед едой! Старайтесь не делать друг другу гадостей! Это трудно, я понимаю, но вы же люди!

Не дергайте меня за мантию! . . »

## ДВЕРИ

Двери были как двери, но за ними все было не так. Там опять были двери. На расстоянии полуметра, створчатые, такие же, как и первые.

Я распахнул их, но там снова были двери и больше ничего. Никаких предметов или надписей на стене. Не было шкафа, стола и стульев. Я пошел дальше, но все повторилось сначала. Промежутки между дверями были узкие, там ничего не могло поместиться — ни кровати, ни телевизора. Двери открывались легко, и это вводило в заблуждение.

Главное — ни одного человека.

Это был сплошной слоеный пирог из дверей, поставленный к тому же вертикально. Я уже устал их открывать, но чувствовал, что это должно когда-нибудь кончиться.

Наконец я распахнул последние створки.

За ними вообще ничего не было. Ни дверей, ничего. . .



## АГЕНТ

— Я агент по разоружению, — представился незнакомец и протянул визитную карточку. Там было напечатано: «Чесноков Б. Б. Агент по разоружению».

— Присаживайтесь, — сказал я. — Вы по какому вопросу?

— Я хочу зачитать приказы.

— Пожалуйста.

— «Мой приказ, — проговорил агент, и голос его стал металлическим. — Создать на Земле цветущий сад. Чесноков».

— Когда? — спросил я, занося приказ в календарь.

— В субботу.

— Так. Дальше.

— «Собрать всех детей в возрасте от одного года до четырнадцати из Африки, Азии, Японии, Индии и Китая для производства работ по разоружению».

— Повторите откуда.

— Из Эфиопии еще, — сказал Чесноков. — Но это как получится.

— Получится, — успокоил я его.

— Чесноков, — сказал Чесноков.

— Что — Чесноков?

— Это подпись.

— Ага. Продолжайте.

— Все, — сказал Чесноков.

— Чесноков, — сказал я.

— Это я, — сказал Чесноков.

— Где? — спросил я.

— Вот он я.

— Продолжайте. Чесноков. . .

— Агент по разоружению, — настойчиво повторил Чесноков.

— Кстати, разрешите представиться. Референт по демобилизации, — сказал я, пожимая ему руку.

— Коллега, — сказал агент.

— Я демобилизуюсь вчера утром. Вот мои документы. Только конфиденциально. Стратегически, — сказал я.

— Понятно, — прошептал Чесноков. — Я приступаю.

Теперь он там сидит референтом по демобилизации. А я теперь агент по разоружению.

## БЛУДНЫЙ СЫН

Пронесся слух, что на соседней улице живет пенсионер, который усыновляет всех желающих. Я пошел посмотреть.

Пенсионер сидел в штабе добровольной народной дружины. К нему была большая очередь на усыновление. Я сказал, что мне только посмотреть, и прошел внутрь.

Старик усыновлял очень быстро. Он никому не отказывал и не затевал лишних разговоров.

— Усыновляю, — сказал он, бегло взглянув на меня.

Очередь запротестовала, но мне уже оформляли документы. Собственно, было одно удостоверение блудного сына под соответствующим номером. Секретарша поставила печать, старик расписался, и я ушел, так и не поняв толком, хотел я усыновиться или нет.

Теперь хожу и думаю. Все-таки чей-то сын. Это приятно. Хотя, с другой стороны, блудный. Когда встречаю своих блудных братьев, становится необыкновенно радостно, что не я один попался на эту удочку.

## ДОМ

Я проснулся от непонятного звука. Где-то внизу раздавалось прерывистое шуршание, будто резали капусту. Я выглянул в окно и увидел двух человек, которые пилили наш девятиэтажный дом у самого основания. Пила легонько звенела и поблескивала при свете фонаря.

— Эй! К чему это? — крикнул я.

— Не беспокойсь! — ответил один. — Спи! Неувязка с проектом. Поставили точечный, а должен быть протяженный.

— К утру все сделаем, — пообещал второй.

— Не беспокойся, — сказал я жене. — У них неувязка с проектом. К утру все будет хорошо.

И мы снова заснули под ритмичные звуки пилы. За ночь дом поставили как надо, и мы проснулись на стене. Я побежал к соседям выяснить, что они собираются делать. Соседи уже перенесли мебель на бывшую стенку и срочно оклеивали обоями бывший потолок.

— Нет! — сказал я жене, возвратясь. — Нужно бороться с обстоятельствами. Будем жить, как жили. Потом, кто его знает, вдруг поставят вверх ногами? Снова придется менять интерьер.

И мы продолжаем жить как жили, но теперь уже горизонтально.

К сожалению, выходя на улицу, приходится принимать вертикальное положение, чтобы удобнее было ездить в трамвае.

## СЕРЬГА

Когда я встретил школьного приятеля, выяснилось, что я постарел. Я был все такой же, а он нет. На нем была дубленка, импортные меховые башмаки и янтарный перстень. Под мышкой он нес японские слаломные лыжи. Стоимостью в мою годовую зарплату.

В правом ухе у него болталась маленькая серьга. Мне это показалось излишним.

— Как жизнь? — спросил я, хотя и так все было ясно.

— Жизнь прекрасна и удивительна! А ты как? — сказал он и дотронулся до серьги.

— Одни неприятности! — сказал я и принялся перечислять неприятности. Он улыбался и кивал.

— Рад, что у тебя все в порядке, — сказал он, когда я кончил, и снова дотронулся до серьги. — Ну, я пошел. Бывай!

И он удалился, помахивая серьгой, похожей на кнопочный выключатель торшера.

Гораздо позже, просматривая какой-то зарубежный журнал, я узнал, что это и был выключатель.

Он рекламировался как средство сохранения нервной системы.

Это был выключатель ушей.

## СОСТЯЗАНИЕ

Началось все очень мило. Официант принес бутылку шампанского и поставил на столик: «Для вас и вашей дамы от товарищей с крайнего стола».

Я посмотрел туда. Товарищи с крайнего стола уже ожидали моей реакции. Они приподняли бокалы, одновременно кивая. Я тоже кивнул и послал им цветы.

Через пять минут официант принес коньяк. Товарищи с крайнего стола продолжали поднимать бокалы, улыбаясь очень дружелюбно.

Я послал им сборник стихов Пушкина. Они поняли это по-своему и прислали цветной телевизор, который передавал их улыбающиеся красные лица. Все вместе на экране они не помещались, поэтому приходилось переключаться.

Я послал им репродукцию Ван Гога берлинского издания. Они пришли в восторг, и тут же официант пригнал «Жигули» цвета морской волны и поставил в проходе.

— Для вас и для вашей дамы, — переводя дух, сказал он.

Я немного поднатужился и отправил им двадцать третью сонату Бетховена в исполнении Святослава Рихтера. Вышла небольшая заминка с роялем, но в общем администрация справилась.

Их фантазии хватило на трехкомнатную кооперативную квартиру. В ресторане стало трудно передвигаться. Но публика не возмущалась, увлеченная состязанием.

Тогда я послал им порталый кран. Официанты его еле приволокли. Кран был с крановщицей.

— Вира! — скомандовал я.

Крановщица подцепила их столик крючком и, раскачав, забросила в Кижы. Я так и не понял, кто выиграл, потому что оттуда они еще ничего не прислали.

## КАТАСТРОФА

Высоко в небе летел самолет и по какой-то причине раскололся надвое. И пассажиры из него высыпались.

До земли было далеко, и они опускались, как чайники на дно стакана. Можно было поговорить и кое-что вспомнить.

Погода была хорошая, безоблачная. Все материки и океаны лежали как на ладони.

— Посмотрите, — сказал один. — Это Крым. Я там отдыхал в прошлом году.

— В каком санатории? — спросил другой. Спросил просто так, от нечего делать.

— В санатории «Чайка».

— Там плохо кормят, — сказал тот. — На редкость.

— Ну, не скажите! — вмешалась женщина. Она была тяжелее других и опускалась быстрее. Поэтому она торопилась высказаться: — Конечно, если кто привык к острым блюдам, тому плохо. А для язвенников стол в «Чайке» прекрасный. Творог, сметана, кефир. . .

И она полетела дальше.

— Удивительный народ эти женщины, — проворчал первый. — Не знают, а говорят. В «Чайке» действительно плохо кормят. И язвенники здесь ни при чем. Язвенники в «Прибое» лечатся.

— Красиво, — вздохнул второй, обозревая ландшафт. — Интересно, какая температура воды?

— Градусов двадцать пять, не меньше.

— Нет, должно быть, все-таки меньше.

— Может быть, — согласился первый.

Больше говорить было не о чем. Они полетели молча и упали где-то под Вологдой.

## ФЕХТОВАЛЬЩИКИ

На перекрестке двое фехтуют секундными стрелками от башенных часов. Они фехтуют тяжело, абсолютно неумело, и удовольствия явно не получают. Можно сказать, они фехтуют зря.

Дайте мне секундную стрелку! Я покажу, как изящно сделать выпад, как отвести удар, как жить мгновением.

Но мне дают часовую и предлагают резать ею колбасу. Часовая стрелка увесистая и тупая, а колбасы много. И вот сидишь и нарезаешь эти проклятые розовые кружки, жирные на ощупь.

А те двое уже устали. Они побросали свои стрелки, легкие и тонкие, как паутинки, и сидят, смотрят с тоской на меня.

Колбасы им захотелось, что ли?

## БОЧКА ДИОГЕНА

В бочке Диогена было тесно. Это была коллективная бочка Диогена на пятьдесят человеко-мест. Диоген сам сидел за рулем и объявлял остановки по микрофону. Я и остальные философы мыслили и, следовательно, существовали. Правда, существовали так себе.

На одной из остановок в бочку попросился румяный философ лет двадцати пяти со спортивной сумкой в руках.

— Эй! Потеснитесь на одного человека! — крикнул он.

И все потеснились ровно на одного человека. Потеснились ровно на меня. Я оказался вдавленным внутрь соседнего философа и удивился, как там темно и пусто. Носились какие-то мысли, похожие на летучих мышей. Они были стремительны и ничего не задевали. Со скуки я закурил, дожидаясь конца маршрута.

— Курить запрещается! Покиньте салон! — заявил Диоген по радио моему философу, заметив, что у того из ушей идет дым.

Обиженный философ вышел из бочки, обещая при этом Диогену неприятности по службе. Бочка покатила дальше, а мы с философом куда-то пошли. Я осторожно постучал изнутри и попросил меня выпустить.

— Нет уж, теперь сиди! — воскликнул он, посмотрев внутрь себя ненавидящим взглядом.

Жаль мне его стало, но тут я заметил, что внутри меня тоже шевелится кто-то, маленький и неприятный. Как он туда попал?

## ТАКСИСТ

— Шпиль Адмиралтейства, — сказал я, садясь в такси.

— На самый верх? — спросил таксист.

— Да, желательно.

— Три рубля сверх счетчика, — подумав, сказал таксист.

— Много что-то. Я же не холодильник везу, — сказал я.

— Частник пятерку возьмет, — предупредил таксист.

— А они туда ездят?

— Вообще-то не ездят, — признался таксист. — Милиции боятся.

— Нету у меня трех рублей. Рубль у меня, — сказал я.

— А чего ж ты? Шпиль Адмиралтейства! Шпиль Адмиралтейства! — закричал таксист. — Да я туда никогда и не ездил, скидку тебе делаю.

— Не нужно мне скидки. Или честно поедem, или я выхожу.

— Черт с тобой! — зло сказал таксист. Он захлопнул дверцу, и мы поехали. На самый верх шпиля Адмиралтейства, к кораблику.

## ФИГА

Я пришел с работы и обнаружил, что посреди комнаты прямо из паркетного пола выросла красивая фига, похожая на тюльпан. Она покачивалась на тонкой ножке, а большой палец, просунутый между указательным и средним, поворачивался за мною, как перископ.

Я попытался разжать пальцы, но они были стиснуты крепко. Тогда я срезал фигу под корешок

и выбросил ее в мусоропровод. Проваливаясь в черную дыру, фи́га попыталась ухватиться за край, но не успела. Пальцы лишь скользнули по стенке, оставив пять бледных полос.

Однако на следующий день фи́га выросла опять. Снова пришлось ее выбрасывать, причем на этот раз пальцы ухватились за крышку мусоропровода и стоило большого труда их оторвать.

Так продолжалось месяц. Фи́га появлялась регулярно, как вечерняя газета. Бороться с нею становилось все тяжелее.

— Ну что тебе нужно от меня?! — крикнул я однажды в отчаянии, наклоняясь к ней.

Фи́га молча ухватила меня за нос двумя пальцами и потянула изо всей силы к полу. Из моих глаз полились слезы, а фи́га в это время, отпустив нос, дала мне здоровенного щелчка по лбу, распрямившись, как пружина.

Удовлетворенная, она позволила себя выбросить и больше не вырастала.

## БРОШКА

Муж подарил жене к Новому году брошку. Он имел в виду, что она весело встретит праздник. На эту брошку ушли все сбережения.

— К такой брошке нужно хорошее платье, — сказала жена. — И туфли, — подумав, добавила она. — Иначе нет никакого смысла встречать Новый год.

И они отложили встречу на год, чтобы получше подготовиться. За это время удалось купить туфли и платье.

— Теперь можно идти даже в ресторан, — сказала жена.

— А шуба? — спросил муж. — Без шубы нечего и думать о ресторане.

Через пять лет не без некоторого напряжения они купили шубу из норки.

— Неужели ты думаешь, что в такой шубе можно ездить общественным транспортом? — спросила жена.



Это было справедливо. В такой шубе нельзя было ездить даже в такси. Муж встал в очередь на машину и сел за диссертацию. На это ушло еще десять лет. Зато машина по цвету очень подходила к шубе.

— Тебя тоже неплохо бы одеть, — заметила жена. — Иначе могут подумать, что ты служебный шофер.

И в течение ряда лет мужа одевали так, чтобы он гармонировал с шубой и машиной. Наконец все было готово, и они стали собираться на встречу Нового года.

— Знаешь, — задумчиво сказала жена, — такие брошки уже не носят. . . Спрашивается, чего мы потащимся в ресторан? Там одна молодежь. А у тебя печень. В конце концов, по телевизору все покажут.

И тогда муж подумал о том, что когда-то, на заре своей молодости, он упустил одно удовольствие. А ведь можно было, выйдя из ювелирного магазина, забросить эту брошку с моста в реку. По крайней мере, несколько секунд удалось бы понаблюдать, как она летит, красиво переливаясь на солнце.

## ВОЛОСОК

На фронтоне Исаакиевского собора, рядом с изображением Господа Бога, висит на волоске человек средних лет. Я каждый день наблюдаю его из окна автобуса, когда еду на работу.

Человек, видимо, принципиально висит на одном волоске. К тому же он гордо улыбается, будто сознает, что соседство с творцом для него почетно. От нечего делать он напевает песенки, разглядывает прохожих и делает какие-то заметки в записной книжке.

Человека раскачивает ветер, дождь и снег попеременно беспокоят его, но он все равно улыбается и ободряюще подмигивает тем, кто внизу. Кажется, ему хочется показать, что он висит с какой-то специальной целью, известной немногим.

Я замечаю, что с каждым днем волосок все больше седеет и истончается, превращаясь в почти невидимую серебряную струнку, натянутую до предела. Человек улыбается уже совершенно героически, с чувством

правильно выполняемого долга. Если хорошо прислушаться, то можно услышать тончайший свист ветра, рассекаемого волоском. Но лучше не прислушиваться, потому что этот звук, подобно скрипу ножа по стеклу, неприятен.

## ГОСПОДЬ БОГ

Вдруг на всех перекрестках появилась светящаяся неоновая реклама: «Вызывайте Бога по телефону 00-1». И все. Зачем, почему — об этом ни слова.

Я, конечно, обрадовался такой возможности и подумал, что в сфере обслуживания произошли какие-то сдвиги. Однако никто из моих знакомых не собирался звонить Богу. Одни не верили, что все будет честно, другим было наплевать, а третьи боялись, что это дорогое удовольствие.

Как я понял, подавляющее большинство людей, если не все, смотрели на эту идею скептически.

Мне не хотелось выделяться, но я все-таки позвонил. У меня накопилось несколько вопросов, на которые только Бог способен был дать ответ.

— Слава Богу, что вы позвонили, — раздался в трубке старческий голос. — Слава Богу! Как ваша фамилия?

Я назвал фамилию, соображая, какого же Бога благодарит Бог.

— Сейчас я запишу. . . Вы меня просто выручили. Слава Богу!

— Простите, с кем я говорю? — спросил я.

— С Богом, с Богом, — сказал старик.

— Тогда какого же черта?

— Я скажу вам по секрету. . . — Бог перешел на шепот. — Вы просто не представляете, какая у нас сложная система богов. Я рядовой бог. В моем ведении всего одна галактика. А верховный Творец, о котором вы понятия не имеете, он выше, много выше. . . Но если начистоту, я не уверен, что он самый главный.

— По-моему, вы — атеист, — сказал я.

— Господь с вами! — испугался Бог. — Давайте ваши вопросы.

— Да я уж лучше обращусь выше, — сказал я.

— Дело ваше... Только не вешайте трубку, — сказал Бог торопливо. — Скажите, что там у вас происходит? Я ничего не понимаю.

— Все нормально, — сказал я. — Не волнуйтесь. Ввели новую форму обслуживания. Теперь по телефону можно поговорить с Вами.

— Это я знаю, — тоскливо произнес Бог. — Не звонит только никто. Вы первый.

— Нет, я последний, — сказал я. — Это-то меня и волнует...

— И меня, — вздохнул Бог.

— Вам-то что? Вы за это не отвечаете.

— А вы? Вы — отвечаете? — удивился Бог.

Господи, что он понимает! Я повесил трубку, и двухкопеечная монетка выскочила обратно. Это была настоящая радость.

## ПЕВЕЦ

Один человек пел. Он пел сначала сто лет, потом двести, а потом еще триста пятьдесят. Настроение у него очень повысилось.

«Чего бы мне еще спеть?» — подумал он.

И он спел еще два раза по сто лет классического репертуара и пятьдесят лет маршей.

Тут к нему подошел человек, лишенный слуха, и сказал:

— Может, хватит тебе петь?

— Нет, — сказал певец. — Если уж я начал петь, то буду петь до конца.

И он пел еще целых семьсот пятьдесят лет грузинские песни. Но тут у него кончились деньги. Он пошел домой и пел там еще до утра.

## ИСПЫТАТЕЛЬ

Испытатель проснулся и вспомнил, что предстоит нелегкий день. На кухне шипела яичница. Жена вошла в комнату и понимающе взглянула на него. Вот уже

двадцать семь лет каждый день она провожала его на испытания. За исключением выходных и отпусковых.

Испытатель побрился, обдумывая детали предстоящей работы.

— Сегодня новая серия, — сказал он жене.

— Господи! Опять новая серия, — вздохнула жена. — Береги себя!

Бережь себя! Нет, не такой он человек. Недаром ему всегда доверяли самый трудный участок. Недаром он имеет грамоту и выпел «Лучшему испытателю предприятия». Это все, конечно, чего-то стоит. Все труднее внутренне собираться. Да и внешне тоже. Нет-нет да и дрогнет рука. А в нашем деле. . .

Так думал испытатель, шагая к проходной.

— Нелетная погода, — пробормотал он, взглянув на небо.

В проходной вахтер хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну, ни пуха!

В эллинге сверкали алюминием изделия новой серии. Брезент цвета хаки радовал глаз. Испытатель крикнул и привычным движением развернул первое изделие.

Он лег на него и посмотрел на секундомер. Согласно программе испытаний лежать полагалось полчаса.

В день он испытывал шестнадцать раскладушек.

## ИНТУРИСТ

Интурист вышел на площадь и стал разглядывать достопримечательности. В середине на вздыбленном коне сидел человек в военной форме старого образца. Это был памятник. Справа находился собор, похожий на пробку от шампанского. Слева тоже было солидное здание, куда стекались люди.

Интурист решил, что это театр, и присоединился к зрителям.

Внутри его раздели, но программки не предложили. Вместе со всеми он вошел в зал. Сцена была без занавеса, декорации уже стояли, и когда вышли актеры, интурист приветствовал их аплодисментами.

Пьеса, видимо, была психологическая. Главный герой поднялся и говорил целый час, прерываемый овациями. Когда он кончил, все встали, хотя интуристу показалось, что это излишне.

Потом действие по замыслу режиссера перекинулось в зал. В нужный момент зрители поднимали руки, держа в них маленькие картонные карточки. Чтобы не выделяться, интурист поднимал руку с зажатым между пальцами долларовым билетом. Один раз он ошибся и поднял руку не в том месте. Ничего, все обошлось.

В перерыве к нему подошел молодой человек с микрофоном и спросил:

— Каковы ваши впечатления от решений?

— Олл райт, — сказал интурист. — Очень карашо. Это есть большой искусство. Это есть реализм. Не то что у нас, в Америка.

## ВУНДЕРКИНД

Родился удивительный вундеркинд.

Уже в родильном доме он написал жалобу на плохое обслуживание, отказался от матери, взял псевдоним и потребовал свободы печати. Пробыл он там неделю, питаясь исключительно жевательной резинкой. Уходя, хлопнул дверью и поселился где-то на чердаке.

Пеленать его приходилось ночью, чтобы не ущемлять самолюбие.

Вундеркинд отрастил бороду и стал похож на Тургенева. Он выпиливал лобзиком буквы, собирал винные пробки и все требовал таинственной свободы печати.

Наконец ему принесли эту свободу печати в тонком стакане чешского стекла. Вундеркинд выпил и присмирел. Подумав немного, он записался в детский сад, в младшую группу.

Надо же когда-нибудь вливаться в коллектив.

## ПИРАТ

У нас в доме живет пират. Старенький уже, еле ходит. Тем не менее каждый вечер приносит домой награбленные сокровища и прячет их под паркет.

Недавно приволок пианино.

— Зачем вам пианино? — спросил я пирата.

— Внучку буду учить, — ответил пират. — Музыка оказывает благотворное влияние.

И он долго сопел, засовывая пианино под паркет, потому что внучки у него еще не было, а времена могли перемениться.

## КОЛЛЕКЦИОНЕР

Коллекционер собирал канцелярские скрепки от постановлений и нанизывал их одну на другую. У него была мечта — опоясать этой цепочкой земной шар.

Через некоторое время цепочка достигла нужной длины. Коллекционер потянул ее вокруг Земли, объясняя по пути встречным людям, что это у него такое хобби. Люди пожимали плечами. Мало ли у кого какое хобби?..

Наконец он обошел земной шар и сцепил последнюю скрепку с первой на зеленом сукне стола в своем кабинете.

Теперь он коллекционирует согласные буквы из учебников истории, имея ту же мечту. Только согласные, никаких гласных.

## ЛЕНТАЙ

Его всегда можно было видеть в коридоре, где он курил, подпирая стену плечом. В его позе было безмятежное спокойствие, что, конечно же, не нравилось сослуживцам, пробегающим мимо.

Он стоял и курил, а его взгляд скользил вдоль стены в бесконечность. Плечо пиджака его вечно было в мелу, благодаря все той же стене.

Наконец его уволили, а через день стена упала.

## КУВЫРКОМ

Кто-то предложил новый способ трамвайного движения. Он предложил, чтобы трамваи не ездили по рельсам, а катились кувырком. Это было удобно, потому что позволяло обойтись без колес.

Трамваи стали кататься по своим маршрутам кувырком. Пассажиры вскоре к этому привыкли. Многие нашли в этом способе свои преимущества, потому что теперь было все равно, где стоять — на полу или на потолке.

Более того, выходя на улицу, люди продолжали двигаться кувырком, чтобы лишний раз не перестраиваться.

Это было удобно, потому что позволяло обойтись без головы.

## МЕТРО

В тот день в метро отключили электроэнергию и поезда остались в парке. Люди шли на работу по шпалам в абсолютной темноте. На станциях тоже было темно. Мы только слышали, как новые пассажиры спрыгивают с платформы на пути, а прибывшие карабкаются вверх. В туннелях было сыро и гулко.

— Временное явление, — заявил мужской голос. Очевидно, он успокаивал самого себя. — Завтра наладят.

— Все экономим! — раздраженно сказал женский голос.

— А пятаки берут, — вздохнула какая-то старушка.

— Нужно смотреть шире, — сказал первый голос. — По-государственному.

С минуту все шли молча, пытаясь смотреть по-государственному. Кто-то упал, споткнувшись о шпалу. Его нашли на ощупь и поставили на ноги. Он оказался женщиной.

— На Западе в таких случаях в туннеле дежурят врачи, — сказал молодой голос. Как видно, ему уже приходилось гулять в туннеле по Западу.

— Сервис, — опять вздохнула старушка.

— Это только видимость. А по сути — обман, — упрямо заявил первый голос.

Тут кто-то понял, что идет не в ту сторону, и был этим очень огорчен. К сожалению, свернуть было нельзя. Люди шли сплошным потоком.

Настроение у всех падало.

— Нам дали новое жизненное впечатление, — сказал я. — А мы недовольны. Так не годится.

Меня нащупали и запихали в боковую дверцу, какие встречаются в туннелях.

Там почему-то горела лампочка и было светло.

## КАПУСТА

Нас привезли в подшефный колхоз и показали огромное поле капусты. Кочаны торчали из земли правильными рядами, как мины. В этой капусте нужно было искать детей. Норма была двадцать пять детей на человека.

Я двинулся по грядке, раздвинув влажные хрустящие листья. Под первым кочаном никого не оказалось, зато под вторым сидел мужик в ватнике и покуривал.

— Ага, шефы приехали! — мрачно констатировал он.

Я не стал его брать, потому что он был переростком. На этой грядке мне попалась еще компания из пяти человек, которые пили водку, закусывая капустными листьями. Они тоже не годились для нормы.

На всем поле не было обнаружено ни одного ребенка.

Я пожаловался бригадиру.

— Сами виноваты! — сказал бригадир. — Пока вас дозовешься, они успеют вырасти. Берите вторым сортом.

Когда мы всех вытащили и записали вторым сортом, их оказалось человек сто. Они спели нам частушку и ушли домой в деревню. А мы остались рубить капусту. Слава Богу, теперь это было совершенно безопасно для колхозников.



## ОЧЕРЕДЬ

Никак не могли придумать, как рационально установить эту очередь. Если вытянуть ее в прямую линию, то очередь получится такой длинной, что выйдет своим хвостом в Западную Европу. Если свернуть очередь по спирали, то находящиеся в центре будут погибать от удушья. Если же поставить ее зигзагами, то получится уже не очередь, а неорганизованная толпа.

Пришлось выстроить гигантский небоскреб и поставить очередь вертикально вдоль лестницы. Теперь надо было решить, где продавать — наверху или внизу. Решили продавать наверху, чтобы удобнее было занимать очередь снизу.

Оставалось решить, что нужно продавать. Однако выбора уже не было. Можно было продавать только парашюты. Давали по парашюту в одни руки. И все равно, прыгнув с небоскреба, некоторые ухитрялись занять очередь снова и получить второй парашют.

Когда парашюты кончились, все стали прыгать уже без них, чтобы не оставалось ощущения неудачи. И ощущения неудачи действительно не оставалось.

## ВЕСНА

Самое неприятное — это когда тебя бросают головой вниз в водосточную трубу. И ты летишь, вытянув руки по швам и наблюдая, как перед носом стремительно падает вверх бесконечная цилиндрическая поверхность.

Правда, она не совсем бесконечная. Изредка попадают в трубе колена. Их предчувствуешь заранее и уже соображаешь, в каком направлении гнуться.

И все равно это больно.

В конце концов вылетаешь на мостовую с грохотом, как ледяной снаряд, пугая прохожих и так и не успевая выбросить вперед руки.

— Весна пришла! — говорят прохожие, переступая через тебя. А ты, разбитый на тысячу осколков,

щуришься на солнце, а потом таешь и струишься по асфальту, неся на себе обгорелые спички и кораблики с бумажными парусами, за которыми бегут дети.

## ДВОРНИК

Я вышел на улицу перед рассветом. У подъезда я услышал шарканье метлы, а в темноте разглядел белую фигуру дворника, который подметал листья. Движениями он походил на косца.

Я приблизился к нему и остановился в недоумении. То, что казалось мне издали белым фартуком, было огромным белоснежным крылом, заменявшим дворнику левую руку. Крыло доставало почти до земли, и нижние перья были слегка забрызганы грязью.

Правая рука была обыкновенная, она-то и держала метлу. Причем крыло по мере сил пыталось помогать руке, скользя и щелкая упругими перьями по рукоятке.

Заметив меня, дворник бросил метлу и побежал куда-то, взмахивая крылом, которое на секунду отрывало его от земли и бросало наискось вверх при каждом взмахе.

Рядом с метлой осталось лишь белое перо, напоминающее гусиное, и, как это ни странно, заточенное для письма.

## ДЕВОЧКА

Девочка с белым бантом на макушке, похожая на маленький вертолет, бежала по улице. Она бежала и плакала — маленький плачущий вертолет, управляемый по радио.

Было видно невооруженным глазом, что вертолет перегружен обидой, которая не позволяет ему взлететь. Когда девочка поравнялась со мной, я отобрал обиду. Я скомкал ее, перевязал шпагатом и засунул поглубже в свой портфель. Там их было много. Одна лишняя обида ничего не решает.

Самое удивительное, что девочка неохотно расста-

лась с обидой. Она еще немного поплакала по причине прощания с ней, но потом все-таки взмахнула бантом и взлетела, обдав меня тугим и горячим воздухом из-под винта.

А я пошел дальше с ее обидой, наблюдая, как девочка покачивается в небе, похожая уже на ромашку с бесшумно вращающимся венчиком.

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

На столбе возле моего дома повесили объявление: «Меняю возлюбленную тридцати трех лет, блондинку, прекрасный характер, образование высшее, глаза голубые. Требуется равноценная в другом районе земного шара. Плохих не предлагать!»

Мужчины подолгу стояли у объявления, прикидывая в уме различные варианты. Немного настораживало упоминание земного шара. При чем здесь земной шар?

Некоторые отрывали квиточек с телефоном и прятали его в записную книжку. Скоро все квиточки были оборваны, и объявление продолжало висеть без телефонов.

Через год я подошел к этому объявлению с расплывшимися от дождей буквами и исправил 33 на 34. Во всем должен быть порядок.

## ПОЦЕЛУЙ

Она откинула голову и приоткрыла рот, облизнув язычком губы, отчего они дополнительно заблестели. Я приблизился к этим губам, уверенный в успехе, но вдруг увидел в глянцевої их поверхности свое отражение.

Мое лицо, разделенное на две части, размещалось на верхней и нижней губе, причем в более толстой, нижней, отражался нос, вытянутый и красный. Этому способствовала еще и помада. Я наклонил голову и добился того, чтобы в нижней губе отразились мои глаза. Они мне тоже не понравились.

— Долго ты будешь себя разглядывать? — выдохнула она, и пар от дыхания затуманил губы и скрыл мое изображение прежде, чем я успел себя пожалеть.

## РАЗГОВОР

Я сказал, что люблю ее. Она ответила, что любит мороженое. Я сказал, что хочу ее. Она ответила, что хочет в кино. Я сказал, что жду ее. Она ответила, что ждет отпуска и второй серии телевизионного фильма, где играет ее любимый актер.

Я сказал, что ненавижу ее. Она сказала, что ненавидит разговоры. Я сказал, что погода хорошая. Она согласилась.

## РЕЦЕПТ

Любовь — прекрасное сырье для жевательной резинки. Я это установил совсем недавно.

Нужно взять достаточно свежую любовь, с ее терпеливым ожиданием, вопросами, ответами, кокетством возлюбленной, всяческими обманами, клятвами и сладкими поцелуями в подъезде. Все это нужно сварить на медленном огне, добавив губной помады и каплю духов. Изготовленную массу следует остудить, напевая при этом аргентинское танго.

Получится прекрасная жевательная резинка розового цвета, ароматная и приятно освежающая рот. Ее можно жевать долго и сосредоточенно, без всякой опасности для здоровья. И главное — как она будет тянуться!

Она будет тянуться годами.

## ПУТЕШЕСТВИЕ

Молоденькая продавщица в Гостином дворе торговала путешествиями. Самые разнообразные путешествия лежали на полках в виде тугих разноцветных клубков. Бросай клубок перед собою — и путешествуй

куда хочешь: в Болгарию, Индию или даже Соединенные Штаты. Не забывай только держаться за кончик нитки, чтобы не сбиться с дороги.

— А что у вас есть еще? — спросил я.

Продавщица открыла рот, чтобы мне достойно ответить, но я ухватил ее за кончик языка и стал быстро распутывать, как клубок. Путешествие было долгим и увлекательным. Куда интереснее поездки в Штаты. А с виду — обыкновенная девушка, даже без высшего образования.

## СЧАСТЬЕ

Я опустил монетку в прорезь и снял трубку с рычага. Вместо ожидаемого гудка из трубки полилась тихая серебряная музыка, а потом женский голос произнес:

— Все хорошо, любимый. Все хорошо. . .

— Что хорошо? — спросил я грустно.

— Все хорошо. Я люблю тебя, и теперь ты об этом знаешь. Я буду любить тебя всегда, каким бы ты ни был. Помни, пожалуйста, об этом. Ты непременно будешь счастлив, потому что я тебя люблю. Я не прошу ответа. Ты можешь любить, кого захочешь, или не любить никого. Помни только, что на Земле есть женщина, для которой ты единственный, любимый. И ты всегда можешь ей позвонить. . . А теперь повесь трубку. Все будет хорошо.

Я повесил трубку, так и не вспомнив, кому собирался звонить. В кабину вошел другой человек и через минуту вышел оттуда с растерянным детским лицом.

У всех телефонных будок стояли очереди мужчин. Мужчины стояли терпеливо и прятали глаза друг от друга. Никто не смотрел на проходящих мимо женщин, никто даже не курил, готовясь к этому короткому разговору, записанному где-то на магнитофонную ленту для всех, кому нужна любовь.

## СОБАКА

Маленькая собака, больше похожая на крысу, бежала за мной от трамвайной остановки. Когда я оборачивался, собака прятала глаза, чтобы не смущать меня своей назойливостью. Мне никак не удавалось встретиться с ней взглядом.

Тогда я схитрил. Я достал небольшое зеркальце и посмотрел в него на собаку. Она бежала, мелко перебирая лапами и подняв голову, а глаза у нее были голубыми.

Как только собака заметила, что я обманул ее, она заплакала, перешла на шаг и стала постепенно отставать. Долго еще, путаясь в чужих ногах, она шла за мной, а потом от нее остались только глаза, которые робко напоминали о себе всякий раз, когда я оглядывался.

## ОЖИДАНИЕ

Если ждать очень долго, непременно чего-нибудь дождешься. Я стоял на балконе и ждал любви. Я решил дожждаться ее во что бы то ни стало.

Сначала я дождался темноты, потом дождя, молнии и грома. Я дождался последних трамваев, пьяной драки, тоски, ярости, нескольких опрометчивых решений, усталости и забвения. Я дождался вдохновения, признания, успеха, популярности, славы, богатства и утренней зари. Потом я дождался первых трамваев, триумфа, красивых женщин, детей, внуков и правнуков. Я дождался покоя, старости и даже смерти.

Любви я так и не дождался.

## ЧЕМОДАН

В чемодане пусто. Его стенки отделаны серой шелковой тканью, никаких других достопримечательностей внутри нет.

Я догадываюсь, что чемодан заперт на замок, а вдобавок обтянут тугим кожаным ремнем. Но это

только догадки. Никогда я не бывал снаружи чемодана, вечно околачивался внутри. Вечно.

Можно снять его внутренние размеры, описать серые стены, посетовать на темноту или порадоваться простору. Но никогда, никогда я не выйду наружу и не посмотрю беспристрастным взором на этот не кожаный даже, а простой, клеенчатый чемодан, обшитый для красоты клетчатой тканью. Никогда не увижу я человека, который везет его на тележке, покрикивая: «Поберегись!»

Можно обманывать себя, уверяя, что знаешь лицо этого человека и окружающую его обстановку. Можно надеяться на свою фантазию, обозревая серые стены, но зря.

Человек этот, я уверен, совсем не такой, каким представляется мне отсюда. А мир вокруг него недоступим для моего разума. Остается ходить внутри чемодана от стенки к стенке, сжимая кулаки. Остается стучать лбом в мягкую клеенчатую преграду. Остается мечтать.

## ДЕРЕВО

На дереве росли деньги. На нижних ветках — рубли, выше зеленели трешки, потом — пятерки, десятки, а верх был нежного сиреневого цвета. Там росли двадцатипятирублевки.

Я оборвал рубль и побежал за пивом и пельменями. Потом вернулся и, подпрыгнув, сорвал трешку которую был должен приятелю.

Назавтра я пришел взять рубль на обед. Все нижние ветки были уже оборваны, а наверху, в густой листве двадцатипятирублевки, сидел человек в приличном костюме и аккуратно срезал ассигнации ножницами. При этом он не забывал посмотреть каждую на свет. Образовавшиеся пачки он перевязывал запасенной ленточкой и складывал в рюкзак, висевший за спиной.

Судя по количеству денег, работы ему должно было хватить на всю жизнь.

## ЦЕННОСТИ

Я сидел дома и производил переоценку ценностей. Мне никто не мешал.

Слева плотной стопкой лежали ценности, которые срочно следовало переоценить. Справа лежало несколько ценностей, которые я не собирался переоценивать. С ними было все ясно.

Я брал этикетку, зачеркивал крестом старую цену, а сверху ставил новую. Таким образом у меня получилась стопка старых ценностей с новой ценой. Однако принципиально ничего не изменилось. Мне это не понравилось, и я сорвал этикетки. Теперь выходило, что ценности вообще не имели цены.

Тогда я выбросил эти ценности в окно. Они летели, как бумажные голуби, в самых разнообразных направлениях. Прохожие их ловили и прятали за пазуху.

Мне так понравилось выбрасывать ценности, что я выкинул и все остальные тоже.

— Теперь я свободен от предрассудков! — сказал я удовлетворенно. — Свобода — величайшая ценность.

И я тут же выбросил свободу в окошко. Она упала на асфальт и больно ушиблась. Прохожие обходили ее молча, делая вид, что ничего особенного не произошло.

## ГОЛОС

У меня в вентиляционной трубе поселился женский голос. Голос очень громкий, но с неразборчивой дикцией. Каждый вечер он яростно с кем-то спорил. Неизвестно даже с кем, потому что ему никто не возражал.

Я заткнул трубу старой шапкой, предварительно посыпав ее нафталином. Голос перешел жить в стенку. Пришлось облить ее специальной жидкостью, от которойдохнут насекомые. Голос ушел в потолок и одновременно в пол, так что получился стереофонический эффект. Интонации у голоса стали совсем дикие.

Однажды он все-таки вырвался наружу, и я убил



его из духового ружья. Голос завертелся волчком и провалился в щель паркета. Теперь у меня поселилась тишина. Неизвестно, где она и как с нею бороться. Я изнываю от одиночества.

## ЖЕНА

Моя жена превратилась в необитаемый остров. Я нанес его на карту в Тихом океане, чтобы мне было спокойнее. Остров получился не очень большим — площадью в несколько квадратных километров. Климат там умеренный, соседние архипелаги располагаются довольно далеко, а пароходы на остров не заглядывают.

В сущности, я знаю все об этом острове. Я вычислил его координаты, изучил флору и фауну, состав почвы, рельеф и омывающие остров течения. Все это, разумеется, по книжкам.

Иногда мне кажется, что стоит только захотеть, и я могу отправиться к моей жене, на этот одинокий остров. И каждый раз мне что-то мешает. Я слишком далеко нанес его на карту. Двенадцать тысяч километров. Хотелось, чтобы ей там было хорошо.

— Ничего! — утешаю я себя. — Это же остров. Никуда не денется.

Я не могу признаться себе в том, что мешает мне туда отправиться элементарная боязнь. Приплывешь, а острова и нет. Прилетишь, а он уже обитаемый. Явишься туда, а это вовсе и не остров.

Собственно, почему она должна оставаться островом? Ей всегда хотелось быть морем.

## КАПЛИ

Навстречу мне шел мальчик и катил перед собою каплю никотина величиной с футбольный мяч. Капля была приплюснута и по виду напоминала ртуть.

— Она только что убила лошадь, — сообщил мальчик гордо.

И мне представилась эта лошадь, которую капля

ударила в бок, а потом прокатилась по спине, не оставляя живого места.

В этот момент капля угрожающе двинулась на меня, не обращая внимания на крики мальчика. Я побежал, преследуемый каплей, и прибежал к своим приятелям. У них был какой-то праздник. Опасаясь капли, я остался переночевать.

Утром, когда рассвело, я увидел в углу целую батарею капель никотина, сложенных, как пушечные ядра. А над моей головой, на полке, выстроились капли алкоголя, похожие на двухпудовые гири с ручкой.

Когда я обратил на это внимание хозяина, он сказал, что капли здесь уже давно, но пока никого не трогали. Кроме того, они украшают комнату. Что же касается их агрессивности по отношению к лошадям, то не нужно быть лошадью.

## ЛАДОНИ

По ночным улицам летали белые ладони, похожие на чаек. Они ласкали друг друга, собираясь в небольшие группы, они плавно кружились, светясь в темноте длинными электрическими пальцами с неоновыми фонариками ногтей.

Мои ладони тянулись к ним, мелко трепеща суставами, но им никак не удавалось включиться в хоровод других ладоней. Узкие и независимые, эти другие ладони подчинялись своему ритму и уплывали куда-то вдалеку.

Лишь одна из ладоней, размерами побольше других, имеющая к тому же на тыльной стороне редкие изогнутые волосы, приблизилась ко мне, на лету сжимаясь в кулак, и повисла на уровне носа. Она повисела с минуту, как маленькая теплая луна, пахнущая табаком, и это было более чем убедительно.

## МАКУЛАТУРА

Пришли пионеры и деловито стали меня упаковывать. Я кричал, что я не какая-нибудь газета, но они не обращали внимания.

— Зато тяжелый, — сказал главный пионер.

И они вчетвером потащили меня сдавать. Когда меня взвесили, они получили свое первое место, а я был отправлен на фабрику.

Там со мной разделались быстро. Сначала измелчили, потом просушили и очистили. Добавили какой-то клейкой массы, размешали, сварили, а потом прокатали в бумагу.

На этой бумаге напечатали газеты.

Пришли пионеры и деловито стали их упаковывать.

## СЕМЬЯ

На соседней даче жила женщина, у которой было три мужа. Утром она выводила их гулять на цепочке, а потом кормила овсяной кашей. Мужья вели себя смирно, не лаялись между собой и не бросались на отдыхающих.

После завтрака один протирал ветровое стекло машины, другой натягивал гамак, а третий бежал на рынок.

В этой семье была справедливость. Каждый муж получал в день по рублю на карманные расходы. Иногда они скидывались, покупали вино и пили его под кустом сирени. После этого жена одевала им намордники и отпускала в кино. Они пользовались ее неограниченной добротой.

Когда мужья уходили, к женщине приходил любовник. Любовник у нее был один. Он приходил всегда пьяный, матерился и срывал с клумбы цветы, любовно посаженные мужьями. Потом они уединялись в доме и оттуда слышался звон разбиваемой посуды.

Вернувшиеся мужья деликатно играли в преферанс на столике в саду. Они играли по полкопейки и ждали, когда любовник удалится.

Уходил он шумно, хлопая калиткой и не оглядываясь на женщину, которая бежала за ним в слезах по песчаной дорожке. Мужья в это время расписывали выигрыш. Проигравший получал жену на ночь, а два других, облегченно вздохнув, устраивались спать в гамаке.

Ночью они раскачивались и тихонько выли на луну.

## ТЕЛЕВИЗОР

Я переступил через предохранитель и вошел внутрь. Передо мной была железная дверь, на которой было написано красным карандашом: «Не влезай — убьет!» Я вошел. Там на трансформаторе высокого напряжения сидел редактор и светился голубоватым пламенем. Он нервно улыбнулся мне, и между его зубами с сухим треском стрельнула искорка.

— Через полчаса эфир, — сказал он. — Исправили? Я протянул ему текст.

Редактора затрясло, он загудел, электричество шевелило ему волосы. Вообще редактор был какой-то неисправный.

— Пошли, — сказал он, прочитав. — Может быть, проскочит.

И мы пошли, путаясь в лампах и прочих деталях. Нам встречались какие-то люди, которых мы обходили, чтобы не нарваться на разряд тока.

Наконец редактор впихнул меня в трубку. Там было попросторнее. Что-то щелкнуло, и я стал голубым и плоским. Электронный луч обегал меня пятьдесят раз в секунду, неприятно щекоча тело. Мое изображение подергивалось, сжималось и покрывалось рябью. А голос звучал совсем из другого ящика.

Миллионы телезрителей смотрели мне в рот, надеясь, что я скажу что-нибудь путное. А наверху, в регуляторе звука и изображения, скрючившись сидел редактор, испуская невидимые глазу электроны.

## ФАТАЛИСТ

Знал я одного фаталиста. Он жил в доме напротив, на восьмом этаже. Каждое утро фаталист прыгал из окна на улицу. Это ему заменяло утреннюю гимнастику. Жена бросала ему вслед портфель, и фаталист шел на работу. В портфеле был завтрак, состоящий из бутерброда с килькой. Проходя мимо моего балкона, фаталист приветливо помахивал мне рукой. Он совершенно точно знал, что умрет позже меня. Это ему предсказала электронно-вычислительная машина.

Время от времени фаталист попадал под трамвай, его поражало током, он горел и тонул. Все ему сходило с рук. Его оптимизм вырос до невероятных размеров.

Когда он в очередной раз шлепнулся на асфальт на другой стороне улицы и поднялся на ноги, отряхиваясь, я высунулся в форточку и крикнул:

— Прошу учесть, я бессмертен!

Фаталист побледнел, его жизнь мгновенно потеряла всякий смысл и значение. Он сгорбился и пошел вдоль улицы. Портфель с завтраком висел в руке, как маятник остановившихся часов.

Вечером я узнал, что он подавился килькой и умер в страшных мучениях.

## ТРАМВАЙ

Двое каких-то оболтусов, угрожая водителю рогаткой, захватили трамвай и угнали его в Швецию. Пассажиров они выпустили в Финляндии, кроме одного, который был пьян и спал на заднем сиденье.

Доехали до Швеции, спрятались в свои политические убежища и сидят. А трамвай, между прочим, стоит посреди Швеции, как мамонт. Шведы его окружили плотной толпой и стали внимательно изучать.

— Не похоже на самолет, — сказал один швед. — Нет крыльев.

— Не похоже на пароход, — сказал другой. — Нет винта.

— Не похоже на танк, — сказал третий. — Нет пушки.

Тут пьяный проснулся и выглянул из трамвая.  
— Хоть меня убей, не похоже на Купчино! —  
закричал он. — Где же пивной ларек?

## НЕВИДИМКИ

Один ученый милиционер изобрел новый способ борьбы с пьянством. Он изобрел шапку-невидимку. Принцип действия шапки был прост: если человек пьяный, шапка делает его на время невидимым, а когда он начинает трезветь, то постепенно проявляется в видимую сторону, как фотоснимок.

По улицам стали ездить машины «Спецмедслужба», доверху набитые шапками. На всякий случай шапки примеряли всем подряд. Многие граждане тут же исчезали.

В городе стало пустынно. Изредка попадались женщины и дети. Ездили пустые автобусы, из которых почему-то доносились пьяные крики. Но на первый взгляд был полный порядок.

Прошли сутки, но никто из невидимок не появился обратно. Тогда догадались, что изобретение до конца не продумано. Дело в том, что граждане ухитрялись невидимо опохмеляться, поддерживая себя в исчезнувшем состоянии. Пришлось дать выпить дружинникам, нарядить их в шапки и отправить туда.

Теперь невидимые дружинники ловят невидимых пьяниц, а мы тут сидим и ни черта не знаем.

## ДЕНЬ ПЕСНИ

По радио пропели лекцию о международном положении. Ее пели два часа, баритоном, под аккомпанемент рояля. Потом мужчина и женщина спели дуэтом объявления, и большой хор исполнил литературно-критическую передачу об очередном номере журнала «Нева». Затем пели пионеры, как они собирают металлолом, за ними немного попел работник ГАИ про аварии, а вечером долго и неубедительно пел футбольный комментатор.

Я удивился: почему это все поют? Тогда мне объяснили, что сегодня проводится День песни. Все стало понятно.

Неизвестно почему, правда, песни в этот день говорили шепотом.

## ОЧКИ

Мне подарили необычные очки. Одно стекло в них увеличивающее, а другое уменьшающее. Если смотреть двумя глазами сразу, картина получается странная.

Вот ко мне подходит большой, а потому красивый человек, на животе которого, как галстук, болтается малюсенькая его копия с мелкими чертами пигмея и повадками обезьяны.

Большой человек растопыривает толстые руки и идет мне навстречу с широкой улыбкой, но я-то вижу, что маленький, копирующий его жесты, нелепо дергает ручками и растягивает ротик в кислой улыбке.

Большой человек хлопает меня по плечу и хохочет, в то время как маленький бьет меня под ложечку и хихикает.

Большой человек смотрит мне прямо в лицо, а маленький — не поймешь, куда смотрит.

Можно, конечно, прикрыть один глаз. Но какой?

## МУДРЕЦЫ

Сначала они обступили меня, долго разглядывали и качали лысыми головами. Один мудрец ощупал мои плечи, другой измерил рост, третий выслушал сердце трубочкой. По всей вероятности он был врачом.

Затем они собрались в кружок и о чем-то заговорили, бросая на меня восторженные взгляды. Я сидел и пил вино. Меня интересовало, что они предпримут дальше.

А дальше они пошли всей толпой на цыпочках ко мне и принялись дарить мне свои искусственные челюсти.

— Кусайтесь, молодой человек, кусайтесь! — шамкали они. — Мы-то уже не можем кусаться!

Я набрал полный мешок вставных зубов и принес его домой. Зубы гремели, как костяшки домино, когда их перемешивают. Этими зубами я облицевал стенку в туалете. Мудрецы по очереди ходят ко мне в гости и с удовольствием разыскивают свои бывшие зубы среди прочих. Они часами не выходят из туалета, заливаясь тихим радостным смехом, когда наткнутся на собственный зуб.

Меня это устраивает.

## КОЛОКОЛ

Двенадцать тысяч человек принимали участие в изготовлении колокола. Поскольку секрет производства был давно утерян, начинать пришлось с азов. Провели научные исследования, определили состав сплава, разработали технологию.

Колокол отливали в торжественной обстановке на стадионе. Когда сплав застыл, форму разбили и вручили колокол передовому колхозу. Председатель собственноручно продел в ушко колокола веревку и повесил его бычку на шею. Бычок в восторге взбрыкнулся и убежал в лес пастись.

В шуме аплодисментов не было даже слышно, как звенит колокол.

Все разошлись в полной уверенности, что теперь-то бычок не потеряется в лесу. Но он все же потерялся. Дело в том, что впопыхах к колоколу забыли приладить язычок.

Вечно какая-нибудь мелочь портит большое дело.

## ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛЖИ

Я поступил работать истребителем лжи. Работа неблагодарная. И платят мало.

Я подкрадывался на цыпочках ко лжи, пока она отдыхала, и бил ее по затылку журналом «Здоровье», сложенным вдвое. Ложь недовольно морщилась и уми-



рала. Впрочем, умирала она ненадолго, на каких-нибудь полчаса. Потом ложь оживала и становилась еще жирнее.

Тогда я переменил метод. Я вывел искусственно парочку маленьких, но достаточно злых истин и натаскал их на ложь. Мои истины подскакивали ко лжи и перекусывали ей шею. Ложь надежно умирала.

Постепенно мои истины расплодились и разжирили. Скоро они уничтожили всю ложь, которая водилась вокруг. Им просто нечего стало делать. Они путались под ногами, мешали движению, требовали пищи и заявляли массу других претензий.

Пришлось их потихоньку топить. Но тут выяснилось, что утопить разжиревшую истину не так-то просто. Истины вели себя по-хамски.

Они плавали на поверхности и лаяли на меня как собаки.

Люди показывали на меня пальцами и кричали: — Он топит истины, мракобес!

Они просто плохо знали историю вопроса. На самом деле я был истребителем лжи.

## ТОЛПА

Во мне много всяких людей, временами — целая толпа.

Один женат, у второго вчера вечером болела голова, третий любит выпить, четвертый его за это презирает, пятый ходит с детьми в цирк, у шестого неприятности по службе, седьмой чертовски свободен, восьмой ленив, до девятого трудно дозвониться, у десятого есть возлюбленная, одиннадцатый очень беден, двенадцатый боится собак, тринадцатый просто счастлив, к четырнадцатому любят ходить друзья, пятнадцатый одинок, на шестнадцатого можно положиться, на семнадцатого нельзя, восемнадцатый много думает, девятнадцатый тоже, но о другом, двадцатый умирает по воскресеньям, а остальные семьдесят пять представляют меня в различных учреждениях.

Никто из нас не играет на скрипке. Но зато мы

очень любим разговоры о сложности души, которые помогают нашему коллективу выдерживать конкуренцию цельных натур.

## ДУЭЛЬ

Дошло до того, что он бросил в меня перчатку, но не попал.

Я поднял перчатку и протянул ему. Он взял перчатку двумя пальцами, как шелудивого котенка, сунул в карман, а пальцы вытер носовым платком.

— Значит, дуэль? — с удовольствием выговорил он, гордясь.

— Дуэль так дуэль, — пожал плечами я.

— Выбирайте оружие, — сказал он и набрал в легкие столько воздуха, что чуть не полетел.

— Телефон, — сказал я. — Мне удобнее всего телефон.

В назначенный час ко мне пришел секундант, я набрал номер, и дуэль началась. Первым стрелял он.

— Вы подлец, — сказал он.

— Совершенно с вами согласен, — сказал я.

— Не иронизируй, мерзавец! — закричал он.

— Вы зря теряете время, стреляя вхолостую, — заметил я. — Все это я уже давно знаю. Хотелось бы чего-нибудь новенького.

— Кретин! Бездарь! Негодяй! — выпалил он.

— Это лучше, но все еще слабо, — сказал я. — Напрягите воображение.

— Сволочь. . . — прохрипел он. — Стреляй, гад!

— Вы забыли сказать, что я подонок, гнусная тварь, алкоголик, баран, сукин сын, прохиндей, блюдолиз, лизоблюд, козел и дерьмо. В особенности — дерьмо.

В трубке наступило молчание, а потом испуганный голос его секунданта сообщил:

— Он убит. . .

— Жаль, — сказал я. — Это был чистый ангел, а не человек.

## ЗОНТИК

Вдруг пошел дождь из букв. Сначала мелкий, которого никто не замечал, а потом настоящий ливень. Буквы были черные, пахнувшие типографской краской. Их потоки застилали свет. Падая на землю, дождь превращался в густые черные лужи из букв, копошившихся, как клубок червей. Их и прочесть нельзя было толком.

А дождь все лил и лил, похлестывая землю черными типографскими строчками. Некоторые умудрялись читать их на лету, пока они не превращались в лужи. Другие глотали их и умирали от несварения желудка. Я поступил иначе.

Я набрал достаточное количество твердых знаков и смастерил из них зонтик. Пришлось проявить терпение, потому что твердые знаки теперь — редкость.

## ХУЛИГАНЫ

Всю ночь под окнами слышались пьяные крики и песни. Кого-то били, кто-то визжал и матерился. К утру все утихло. Я вышел на балкон и увидел, что на небе кривыми буквами нацарапано непристойное слово. Оно тянулось с запада на восток.

Как назло, день выдался безоблачный, и слово очень бросалось в глаза. Буквы были черные и жирные. Видимо, писали углем.

Прохожие пробовали не обращать на надпись внимание. Но дети настойчиво требовали объяснений. Мамаши на ходу выдумывали какие-то сказки воспитательного характера, стараясь не разрушить у детей светлого чувства оптимизма.

На следующий день прилетели вертолеты. Под брюхом каждого из них висел человек с мокрой тряпкой. Все вместе они старались стереть неприличное слово. Небо основательно запачкали, но надпись все равно было видно.

Наконец пошел дождь и все смыл.

А ведь можно было в ту ночь позвонить в милицию.

Никто этого не сделал, и я в том числе. В следующий раз они будут пить водку и закусывать луной вместо плавленого сырка. Об этом стоит подумать.

## ЧЕРТ

— Вы черт? — спросил я.

— Конечно, черт, — важно согласился он. — Разве не видно?

— Не видно, — сказал я.

Он показал мне хвост и продемонстрировал копыта и рожки. Рожки подсвечивались изнутри красными лампочками. На каждом копыте стоял штамп ОТК и Знак качества. Хвост был сделан из мохера.

— Ну? — спросил он.

— Жаль, — сказал я. — Я совсем не так представлял себе черта.

— А как? — опешил черт.

— А вот так, — сказал я и вывернулся наизнанку, как варешка. Мне стало темно внутри себя и немного стыдно. Не знаю, чего он там увидел. Я бы сам хотел на это посмотреть.

Когда я вывернулся обратно, черт был уже далеко. Он скакал на своих копытах, поджав хвост и обхватив голову руками. Крик его был невыносим.

## КРОТЫ

Я хожу по лесу, всматриваюсь в рисунки на листьях, глажу кору деревьев и ни о чем не думаю. А в это время тихие кроты роют свои темные норы.

Я слушаю птиц, смотрю в небо и дышу всей грудью. А слепые кроты упорно и трудолюбиво плетут подземную сеть.

И вот когда я думаю, что умиротворен и успокоен гармонией природы, лес внезапно обрушивается, подточенный миллионами кротов. Корни обнажаются, и я вижу деревья целиком. Они лежат тут и там, преграждая дорогу, а с корней, точно кровь, капает красная глина.

Это так некрасиво и так похоже на правду, что кроты в испуге зарываются глубже и продолжают работу там. Они роют и роют, и неизвестно, до чего они еще дороятся.

Вся земля в невидимых, тайных извилинах, точно мой мозг, модель которого здесь описана.

## ГОЛОВА

Наконец я не выдержал и взмолился.

— Господи! — сказал я. — Что мне делать с этой дурацкой головой? Я не желаю понимать все на свете! Я от этого страдаю. Мне надоело все видеть и все слышать. У меня голова раскалывается!

После некоторого молчания сверху раздался недовольный и, как мне показалось, сонный голос:

— Чего ему нужно?

— Башку новую хочет, — перевел мои слова другой, более грубый голос.

— Так дайте, в чем же дело? И не отрывайте меня по пустякам, — капризно сказал первый голос.

— На складе только синтетические, — сообщил грубый голос.

— Ах, оставьте меня в покое! — раздраженно проговорил первый.

И тут же ко мне на стол упал большой полиэтиленовый пакет, на котором болталась этикетка: «Голова мужская. Размер 58».

Я надел новую голову и посмотрел вокруг. Рядом со мною раскачивались огромные вопросительные знаки, из-за которых ничего не было видно. Они колыхались, как водоросли, а я смотрел на них безразлично, точно на дальних родственников. Они не вызывали во мне никаких эмоций.

На дне полиэтиленового пакета я обнаружил бумажку: «Проданная голова обратно не принимается и не обменивается». Но даже это оставило меня равнодушным.

## КОНЕЦ СВЕТА

К этому дню готовились очень тщательно. Заранее напечатали пригласительные билеты, назначили докладчика и выступающих в прениях, привели в порядок микрофоны. Но народу все равно пришло мало. Многие предпочли смотреть конец света по телевизору.

В назначенный час протрубили трубы, произошло небольшое землетрясение с грозой, потом кого-то судили. Все честь честью.

На следующее утро газеты поместили краткую информацию о событии: «Вчера в нашем городе состоялся конец света. На конце света присутствовали. . .»

Далее шел список ответственных работников. В заключение было написано: «Конец света завершился праздничным фейерверком».

— Ну, слава Богу! — говорили все. — Наконец прошел этот конец света. И ничего особенного. А сколько было шуму!

Самое удивительное, что некоторые до сих пор об этом ничего не знают. Они все еще готовятся достойно встретить конец света. Эти люди заслуживают сожаления. Благодаря своей отсталости они тратят лучшие годы жизни на подготовку к какому-то жалкому концу света, который, оказывается, давно прошел.

## УДОЧКА

Сверху к нам забросили удочку. Удилища вообще не было видно, а леска уходила высоко в облака, протыкая их, точно спица. Она была толщиной в руку и сделана из нержавеющей стали. К концу лески был приварен крюк, как у подъемного крана. На нем болтался рекламный проспект с описанием рая и плакат: «Милости просим!»

На крючок сразу же стали цепляться желающие. Многие прихватывали пожитки. Они облепили крючок, как муравьи, и стали кричать:

— Господи, да тяни же быстрее!

Леска дернулась, и кандидаты в рай медленно поползли вверх, напоминая виноградную гроздь. Когда она проплывала мимо моего балкона, я успел сунуть последнему кандидату записку, чтобы он передал ее там какому-нибудь начальству. В записке было написано: «Прибыть не могу. Грешен».

Как только мой почтальон спрятал записку в карман, леска лопнула с ужасным звоном. Все посыпались на асфальт, потом поднялись, отряхиваясь от пыли, и долго бранили меня за то, что я перегрузил леску.

## МИКРОБ

Я посмотрел в микроскоп и увидел на другом конце трубы толстого, пушистого микроба, похожего на плюшевого медведя. С минуту мы молча смотрели друг на друга, опасаясь инфекции.

— Ты какой? — наконец крикнул я в трубу.

— Холерный, — просто ответил микроб. — А ты какой?

— Национальность, что ли? — не понял я.

— Да нет. Вообще. . .

— Ну, живой, — неуверенно сказал я.

— Я тоже живой, — сказал микроб. — А конкретнее?

Я задумался, но так и не нашелся, что ответить.

— Вот видишь, — назидательно сказал микроб. — А лезешь мне в душу со своим микроскопом. Ты с собою сначала разберись.

И он был абсолютно прав.

## ПЕШЕХОД

По трамвайному проводу, заложив руки за спину, медленно шел человек в черном пальто. Трамваи проезжали под ним, чиркая, точно спичкой, дугами по его подошвам, отчего из-под ног человека брызгало искрами электричество.

Он не обращал на это внимания, а шел, задумчиво опустив голову, будто вспоминая восемнадцатый век.

Прохожие реагировали на человека, как всегда, по-разному. Некоторые аплодировали, стараясь показать, что они понимают толк в деле. Другие возмущались, справедливо полагая, что такого не бывает, но большинство не поднимало глаз, занятое мелкими лужами на асфальте.

Когда человека все-таки сняли пожарные, приехавшие на повизгивающей красной машине, он не смог дать путного объяснения, а сказал, что задумался и не заметил, как переменял дорогу.

Впрочем, он извинился за причиненное беспокойство и пошел дальше аккуратнее, всякий раз поднимая ноги, когда под ним проезжал трамвай.

## ОРДИНАР

Когда случилось наводнение, вспомнили об ординаре. По радио то и дело предупреждали, что вода поднялась выше ординара, предлагая с этим бороться. Однако никто не знал, что такое ординар и как он выглядит.

В результате такой забывчивости и халатности затопило Васильевский остров. Население вывозили на теплоходах «Ракета». Среди спасенных оказалась старушка, которая прижимала к груди старый, заржавленный ординар. Как выяснилось, этим ординаром пользовался Пушкин.

Ординар срочно прибили над аркой Главного штаба, и с наводнениями было покончено раз и навсегда.

## ЦИРКОВАЯ ЛОШАДЬ

Цирковая лошадь подала в местком жалобу на дрессировщика за плохое обращение. Того вызвали и указали на недопустимость.

— Помилуйте! — вскричал дрессировщик. — Вы разве не знаете, что я дрессирую тигров?

В месткоме задумались. В самом деле, как это они упустили из виду? И снова вызвали лошадь.



— В чем дело? — спросили у лошади.

— Не мне вам объяснять, что такое солидарность! — язвительно сказала лошадь.

— Какая солидарность у лошадей с тиграми? — пожал плечами дрессировщик, узнав об этом ответе лошади.

— Классовая! — сказала на это лошадь.

Самое удивительное, что тигры слыхом не слыхивали ни о солидарности, ни вообще о цирковых лошадях.

## СТУЛ

Один человек ходил на работу со своим стулом, сидел на нем весь рабочий день, а потом уносил домой. Сослуживцы считали это чудачеством, не более. Некоторые объясняли такое поведение повышенной мнительностью.

Скоро человек стал ходить со своим стулом и в гости. Там он никому не мешал, высиживал положенное время и уходил, унося стул в специальном чехле с ручкой, точно музыкальный инструмент. Его стали считать гордецом и себялюбцем.

Он настолько зарвался, что стал сидеть на своем стуле в трамвае, автобусе, самолете и даже в кино, где полным-полно государственных стульев. Эти действия сочли антиобщественными.

Обладатель стула сделался вреден, и его посадили в тюрьму.

Однако он и туда явился со своим стулом, заявив, что за свой стул он хочет сидеть на своем стуле. Только тут с запозданием поняли, чем объясняется его поведение. Он просто любил сидеть на своем стуле.

## ГРОССМЕЙСТЕР

Утром гроссмейстер пил кофе с королем, обсуждая партию. Король был в безвыходном положении, поэтому нервничал.

— Думать нужно башкой, — сказал король. — Что теперь делать?

— Сдам пешки, — сказал гроссмейстер.

После завтрака он выгреб из шкафа несколько белых пешек, наклеил на них маленькие этикеточки собственного изготовления и спустился с ними во двор. Во дворе был пункт по приему стеклотары.

Гроссмейстер занял очередь, раскланиваясь с другими гроссмейстерами и международными мастерами. Некоторые из них сдавали слонов, отчего очередь двигалась медленно.

— Вы слышали? — спросил гроссмейстер. — Говорят, за семьсот обгорелых спичек можно получить талон на огнетушитель.

— Огнетушители невыгодно сдавать, — сказал мастер. — Семь огнетушителей равняется Первому Бранденбургскому концерту Баха.

— Четыре тысячи девятьсот обгорелых спичек, — подсчитал гроссмейстер.

— Жулье! — закричал другой какой-то шахматист. — За двадцать килограммов Баха дают мат в два хода и талон на защиту кандидатской партии вне очереди. . .

Гроссмейстер множил спички.

— А что дают за кубометр кандидатских? — рассеянно спросил он.

— Коробок спичек, — сказал мастер.

Гроссмейстер не успел высчитать эквивалент в обгорелых спичках, потому что подошла его очередь. Он сунул свои пешки в окошечко, приемщик построил их по две в ряд и пересчитал. Одна пешка оказалась битой. Гроссмейстер незаметно спрятал ее в ящик, стоящий внизу, и получил какие-то талоны.

Когда он вернулся домой, партия была спасена.

## СЕДЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Я уже давно живу в седьмом измерении. Некоторые полагают, что я это делаю из гордости или стремления пооригинальничать. А мне здесь просто удобно, и все.

Во-первых, отсюда хорошо видно, куда проваливаются мысли. Они оседают в пятом измерении, в то время как их ищут днем с огнем там, где все пахано и перепахано тысячу раз. В пятом измерении, например, сидят без дела несколько мыслей, благополучно ускользнувших от Эйнштейна, и режутся в покер.

Во-вторых, здесь нет таких сквозняков, как в первых трех измерениях. Так как думать здесь приходится кожей, то отсутствие сквозняков позволяет хорошо сосредоточиться. Я особенно люблю, когда мысли покалывают в кончиках пальцев. Головой здесь думать просто опасно.

Сиюю и наблюдаю. Многие в евклидовом пространстве, интеллигенция в четвертом измерении, да и то не вся, пропавшие мысли в пятом, психи в шестом, а я в седьмом. Самое интересное — следить, как психи воруют провалившиеся мысли в пятом измерении. Они тискают их, как котят, и, наигравшись вдоволь, оставляют. Тогда я осторожно переносу эти мысли к себе, в седьмое измерение, и здесь благополучно публикую.

Только вот жаль, что читать некому.

г. Ленинград  
1971-75 гг.

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора . . . . .	3
---------------------	---

### 1. РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ

Опасения . . . . .	7
Пора снегопада . . . . .	12
Подарок . . . . .	25
Желтые лошади . . . . .	33
Брат и сестра . . . . .	40
Языковой барьер . . . . .	58
Гейша . . . . .	63
Балерина . . . . .	66
Тикли . . . . .	71
Урок мужества . . . . .	76
Эйфелева башня . . . . .	86
Каменное лицо . . . . .	95
Стрелочник . . . . .	101

### 2. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Они и мы . . . . .	107
Мужик . . . . .	108
Искушение . . . . .	—
Храм . . . . .	109
Проповедь . . . . .	110
Двери . . . . .	111
Агент . . . . .	112
Блудный сын . . . . .	113
Дом . . . . .	—
Серьга . . . . .	114
Состязание . . . . .	115
Катастрофа . . . . .	116
Фехтовальщики . . . . .	—
Бочка Диогена . . . . .	117
Таксист . . . . .	118
Фига . . . . .	—
Брошка . . . . .	119

Волосок . . . . .	120
Господь Бог . . . . .	121
Певец . . . . .	122
Испытатель . . . . .	—
Интурист . . . . .	123
Вундеркинд . . . . .	124
Пират . . . . .	125
Коллекционер . . . . .	—
Лентяй . . . . .	—
Кувырком . . . . .	126
Метро . . . . .	—
Капуста . . . . .	127
Очередь . . . . .	128
Весна . . . . .	—
Дворник . . . . .	129
Девочка . . . . .	—
Объявление . . . . .	130
Поцелуй . . . . .	—
Разговор . . . . .	131
Рецепт . . . . .	—
Путешествие . . . . .	—
Счастье . . . . .	132
Собака . . . . .	133
Ожидание . . . . .	—
Чемодан . . . . .	—
Дерево . . . . .	134
Ценности . . . . .	135
Голос . . . . .	—
Жена . . . . .	136
Капли . . . . .	—
Ладони . . . . .	137
Макулатура . . . . .	138
Семья . . . . .	—
Телевизор . . . . .	139
Фаталист . . . . .	140
Трамвай . . . . .	—
Невидимки . . . . .	141
День песни . . . . .	—
Очки . . . . .	142
Мудрецы . . . . .	—
Колокол . . . . .	143
Истребитель лжи . . . . .	—
Толпа . . . . .	144
Дуэль . . . . .	145
Зонтик . . . . .	146
Хулиганы . . . . .	—
Черт . . . . .	147
Кроты . . . . .	—
Голова . . . . .	148
Конец света . . . . .	149
Удочка . . . . .	—
Микроб . . . . .	150
Пешеход . . . . .	—

Ординар . . . . .	151
Цирковая лошадь . . . . .	—
Стул . . . . .	152
Гроссмейстер . . . . .	—
Седьмое измерение . . . . .	153



Ж 66 А. Житинский. Седьмое измерение: Рассказы, новеллы, миниатюры. — Л.: СП «СМАРТ». — 160 с.

Ж 4702010201—002  
090—90 без объявл.

ББК 84 Р7



**Александр Николаевич Житинский**

**СЕДЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ**

Редактор А. Л. Мясников

Технический редактор Г. Г. Светозаров

Корректор Е. Д. Светозарова

Ответственный за выпуск Д. Н. Каралис

Сдано в набор 1.02.90. Подписано в печать 3.04.90. М-29072.  
Формат  $84 \times 108^{1/32}$ . Бумага бланочная. Гарнитура академическая.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5. Тираж 60 000 экз. Заказ. № 00057.  
Цена 2 р.

Издательство «СМАРТ»

191040 Ленинград, Пушкинская 10

Первая типография издательства «Наука» АН СССР

199034, г. Ленинград, В. О. 9 линия, д. 12, кооператив «Переплет»

Сканирование - Беспалов, Николаева  
DjVu-кодирование - Беспалов





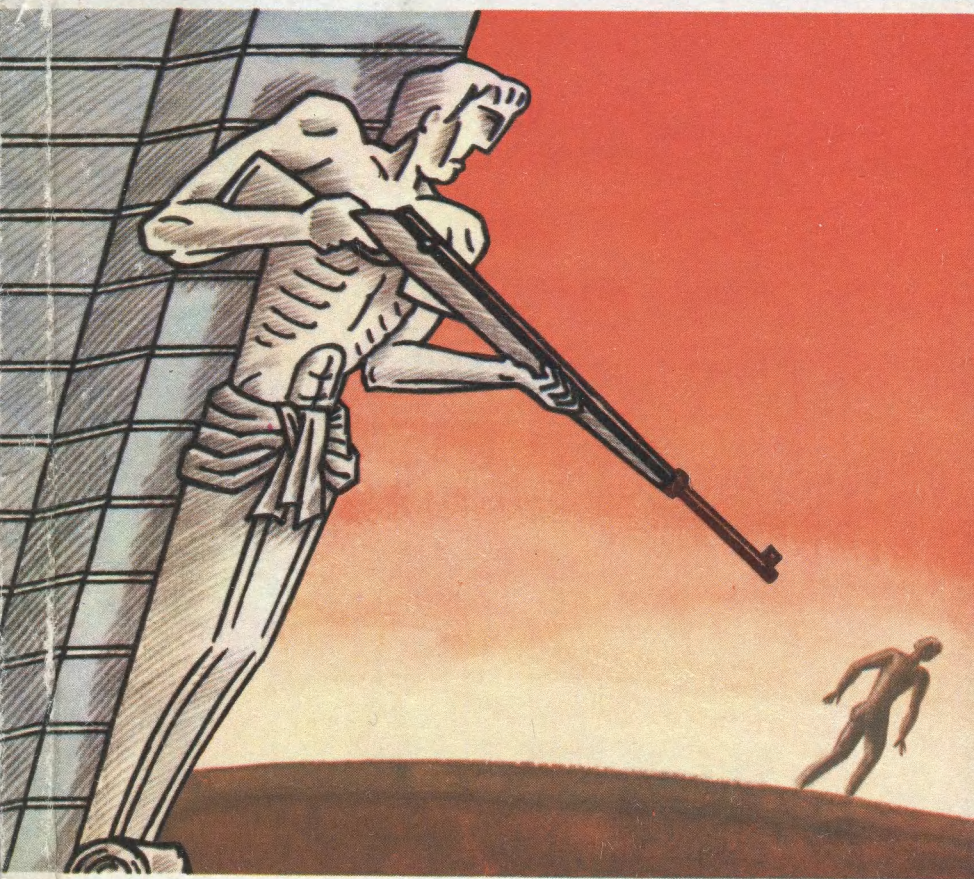
В сборник известного ленинградского писателя Александра Житинского входят рассказы, новеллы, миниатюры, имевшие широкое хождение в фантастико-сатирическом «сам-издате» семидесятых годов и во многом не изданные до сих пор. Их отличает острота формы, склонность к иронии, гротеску, абсурду. В книге впервые полностью печатается цикл фантастических миниатюр Александра Житинского.

Ленинград 1990  
СП «СМАРТ»

2 р.



# АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ



## СЕДЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ